

Иван Александрович Гончаров

Обыкновенная история



Иван Александрович Гончаров

Обыкновенная история

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172016

Гончаров И. Обыкновенная история: Роман: Детская литература; М.; 2004

ISBN 5-08-004042-4

Аннотация

«Обыкновенная история» – блистательный дебют великого русского писателя Ивана Гончарова. Вот уже второе столетие она не перестает волновать и восхищать именно своей «обыкновенностью», вечно актуальным сюжетом о столкновении мечтаний, идеалов, юношеских надежд с обыденностью, с тем, что мы скрепя сердце называем «правдой жизни».

Романтичный и несколько сентиментальный юноша Александр Адуев переезжает из провинции в Столицу, к своему дяде – человеку расчетливому и прагматичному. Молодой человек проходит по пути взросления, разбивая в кровь сердце, разочаровываясь в себе; в собственных представлениях о любви, дружбе, предназначении человека. И вот уж перед нами спокойный, «правильный», ничем не интересующийся господин с потухшим взором, но приличным состоянием.

Какая, в сущности, обыкновенная история...

Содержание

Как жить?	4
Часть первая	17
I	17
II	51
III	110
Конец ознакомительного фрагмента.	122

Иван ГОНЧАРОВ

ОБЫКНОВЕННАЯ

ИСТОРИЯ

Роман в двух частях

Как жить?

(вступительная статья)

Писатели двумя способами исследуют жизнь – умственным, начинающимся с размышлений о явлениях жизни, и художническим, суть которого – постижение тех же явлений не умом (или, вернее, не только умом), а всей своей человеческой сущностью, или как принято говорить, интуитивно.

Интеллектуальное познание жизни приводит автора к логическому изложению изученного им материала, художническое – к выражению сущности тех же явлений через систему художественных образов. Писатель-беллетрист как бы дает картину жизни, но не просто копию с нее, а преобразенную в новую художественную реальность, отчего явления, заинтересовавшие автора и освещенные ярким светом его гения или таланта, предстают перед нами особо зримыми, а иногда и зримыми насквозь.

Предполагается, что истинный писатель дает нам жизнь только в виде художественного ее изображения. Но на деле таких «чистых» авторов не так много, а может быть, и не бывает совсем. Чаще всего писатель является и художником и мыслителем.

Иван Александрович Гончаров издавна считается одним из самых объективных русских писателей, то есть писателем, в произведениях которого личные симпатии или антипатии не выставляются в качестве мерил тех или иных жизненных ценностей. Он дает художественные картины жизни объективно, как бы «добру и злу внимая равнодушно», предоставляя читателю самому, своим собственным умом вершить суд и выносить приговор.

Именно в романе «Обыкновенная история» Гончаров устами сотрудника журнала излагает эту мысль в самом ее чистом виде: «...писатель тогда только, во-первых, напишет дельно, когда не будет находиться под влиянием личного увлечения и пристрастия. Он должен обозревать покойным и светлым взглядом жизнь и людей вообще, – иначе выразит только свое я, до которого никому нет дела». А в статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров замечает: «...я о себе прежде скажу, что принадлежу к последней категории, то есть увлекаюсь больше всего (как это заметил обо мне Белинский) „своею способностью рисовать“.

И в своем первом романе Гончаров нарисовал картину русской жизни в небольшой деревенской усадьбе и в Петер-

бурге 40-х годов XIX века. Разумеется, Гончаров не мог дать полной картины жизни и деревни и Петербурга, как вообще ни один автор не может этого сделать, потому что жизнь всегда многообразнее любого ее изображения. Посмотрим, получилась ли изображаемая картина объективной, как этого желал автор, или какие-то побочные соображения сделали эту картину субъективной.

Драматическим содержанием романа является та своеобразная дуэль, которую ведут два главных ее персонажа: молодой человек Александр Адуев и его дядя Петр Иванович. Дуэль увлекательная, динамичная, в которой успех выпадает на долю то одной, то другой стороны. Поединок за право прожить жизнь согласно своим идеалам. А идеалы у дяди и племянника прямо противоположные.

Юный Александр является в Петербург прямо из теплых материнских объятий, с ног до головы одетый в доспехи высоких и благородных душевных порывов, является в столицу не из праздного любопытства, а с тем, чтобы вступить в решительный бой со всем бездушным, расчетливым, гнусным. «Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности», – восклицает этот наивный идеалист. И на бой он вызвал не кого-нибудь, а весь мир зла. Этаким маленьким доморощенным донкихотик! И ведь тоже начитавшийся и наслушавшийся всяческих благородных бредней.

Тонкая ирония Гончарова, с какой он описывает в нача-

ле романа своего юного героя – его отъезд из дома, клятвы в вечной любви Сонечке и другу своему Поспелову, первые его робкие шаги в Петербурге, – именно этот весьма насмешливый взгляд Гончарова на своего юного героя делает образ Адуева-младшего милым нашему сердцу, но уже заранее предопределяет исход борьбы племянника и дяди. К истинным героям, способным на великие подвиги, авторы не относятся с иронией.

А вот и противная сторона: столичный житель, владелец стекольного и фарфорового завода, чиновник особых поручений, человек трезвого ума и практического смысла, тридцатидевятилетний Петр Иванович Адуев – второй герой романа. Гончаров наделяет его и юмором, и даже сарказмом, но сам не относится к этому своему детищу с иронией, что заставляет нас предполагать: вот он, истинный герой романа, вот тот, на кого автор предлагает нам взять равнение.

Два этих характера, заинтересовавшие Гончаров, были ярчайшими типа своего времени. Родоначальником первого явился Владимир Ленский, второго – сам Евгений Онегин, хотя и в сильно преображенном виде. Замечу здесь в скобках, что и холодность Онегина, его опытность терпят точно такой же крах, как и опытность и значение жизни Петра Ивановича Адуева.

Еще смутно ощущая цельность своего романа, Гончаров пишет: «...в встрече мягкого, избалованного ленью и барством, мечтателя-племянника с практическим дядей – выра-

зился намек на мотив, который едва только начал разыгрываться в самом бойком центре – в Петербурге. Мотив этот – слабое мерцание сознания необходимости труда, настоящего, не рутинного, а живого дела в борьбе со всероссийским застоем».

Гончарову очень хочется взять себе в образец именно этого человека «живого дела», и не только себе, но и предложить его вниманию читателя именно в качестве образца.

С каким блеском написаны диалоги дядюшки и племянника! Как спокойно, уверенно, безапелляционно разбивает дядя своего горячего, но не вооруженного страшным оружием логики и опыта племянника! И каждая критическая фраза убийственна, неотразима. Неотразима оттого, что он говорит правду. Тяжелую, иногда даже обидную и беспощадную, но именно правду.

Вот он высмеивает «вещественные знаки... невещественных отношений» – колечко и локон, подаренные Сонечкой при прощании уезжающему в столицу любимому Сашеньке. «И это ты вез за тысячу пятьсот верст?.. Лучше бы ты привез еще мешок сушеной малины», – советует дядя и швыряет в окно бесценные для Александра символы вечной любви. Александру кажутся дикими и холодными слова дяди и его поступки. Может ли он забыть свою Сонечку? Никогда!..

Увы, прав оказался дядя. Прошло совсем немного времени, и Александр влюбляется в Наденьку Любецкую, влюбляется со всем пылом молодости, со свойственной его на-

туре страстностью, безотчетно, бездумно!.. Сонечка забыта совершенно. Он даже не только ни разу не вспомнит ее, но и забудет ее имя. Любовь к Наденьке заполнит Александра целиком!.. Конца не будет его лучезарному счастью. Какое тут может быть дело, о котором твердит дядя, какая работа, когда он, можно сказать, денно и ночью пропадает за городом у Любецких! Ах, уж этот дядя, у него на уме только дело. Бесчувственный!.. Как у него язык поворачивается говорить, что Наденька, его Наденька, это божество, это совершенство, может его надуть. «Она обманет! Этот ангел, эта олицетворенная искренность...» – восклицает юный Александр. «А все-таки женщина, и, вероятно, обманет», – отвечает дядя. Ох, эти трезвые, беспощадные ум и опыт. Тяжело!.. Но правда: Наденька обманула. Она влюбилась в графа, и Александр получает отставку. Вся жизнь сразу же окрасилась в черный цвет. А дядя твердит: я же предупреждал тебя!..

Александр терпит крах решительно по всем статьям – в любви, в дружбе, в порывах к творчеству, в работе. Всё, решительно всё, чему учили его учителя и книги, все оказалось вздором и с легким хрустом разлеталось под железной поступью трезвого рассудка и практического дела. В самой напряженной сцене романа, когда Александр доведен до отчаяния, запил, опустился, воля его атрофирована, интерес к жизни исчез полностью, дядя последний лепет оправдания племянника парирует: «Чего я требовал от тебя – не я все это выдумал». «Кто же? – спросила Лизавета Александровна

(жена Петра Иваныча – В.Р.). – Век».

Вот где открылась главная мотивировка поведения Петра Иваныча Адуева. Веление века! Век требовал! «Посмотри-ка, – взывает он, – на нынешнюю молодежь: что за молодцы! Как все кипит умственной деятельностью, энергией, как ловко и легко расправляются они со всем этим вздором, что на вашем старом языке называется треволнениями, страданиями... и черт знает что еще!»

Вот она, кульминационная точка романа! Вот он, решающий удар противника! Таков век! «Так непременно и надо следовать всему, что выдумает твой век?.. Так все и свято, все и правда?» – «Все и свято!» – категорически отрезает Петр Иваныч.

Проблема, как надо жить – чувством или разумом, можно сказать, вечная проблема. Как это ни удивительно, но, встречаясь со студентами Московского полиграфического института, я получил записку такого содержания: «Скажите, пожалуйста, как лучше жить – сердцем или умом?» И это в 1971 году! Через сто двадцать пять лет после того, как написан роман «Обыкновенная история».

Есть в романе одно чрезвычайно примечательное место. «По-вашему, и чувством надо управлять, как паром, – заметил Александр, – то выпустить немного, то вдруг остановить, открыть клапан или закрыть...» – «Да, этот клапан недаром природа дала человеку – это рассудок...»

На протяжении всего романа читатель следит за этими

двумя способами проживания жизни – чувством и рассудком. Порою кажется, что Гончаров в самой категорической форме советует нам жить разумно и только разумно, во всяком случае, поверять разумом чувство, как Сальери алгеброй гармонию. Но это Гончаров-мыслитель, человек размышляющий. И будь автор романа только таковым, он непременно и «доказал» бы нам, что жить необходимо разумно. Однако Гончаров прежде всего художник, да еще реалистический художник. Он изображает явление таким, каково оно есть, а не таким, каким ему бы хотелось его видеть. Как сын своего века Гончаров целиком за Адуева-старшего, он сам в этом признается: «В борьбе дяди с племянником отразилась и тогдашняя, только что начавшаяся ломка старых понятий и нравов – сентиментальности, карикатурного преувеличения чувства дружбы и любви, поэзия праздности, семейная и домашняя ложь напускных, в сущности небывалых чувств... Все это – отживало, уходило; являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезвого, делового, нужного».

В фигуре Адуева-старшего Гончаров чувствовал нового человека. И чувствовал верно – это шел именно новый человек. На него возлагал надежды Иван Александрович.

Кто же такой Петр Ивановч Адуев, этот образец для подражания, этот человек дела и трезвого ума? Исторически всем нам он давно ясен. Этот новый тип, идущий на смену людям обветшавшего феодального уклада, – капиталист. А капиталист во все времена, с самого своего рождения, и во всех

странах един – это человек дела и расчета.

Сколько раз в романе Адуев-старший произносит слова о деле и о расчете. Расчет в деле. Расчет в дружбе. Расчет в любви. Расчет в женитьбе... И это слово никогда не звучит в его устах осуждающе. Даже в вопросах творчества расчет. «Уверен ли ты, что у тебя есть талант? Без этого ведь ты будешь чернорабочий в искусстве – что ж хорошего? Талант – другое дело: можно работать; много хорошего сделаешь, и притом это капитал – стоит твоих ста душ». – «Вы и это измеряете деньгами?» – «А чем же прикажешь? чем больше тебя читают, тем больше платят денег».

Вот он, расчет, выраженный в самой реальной своей реальности – в деньгах. Все меряется деньгами!

«– Вы никак не можете представить себе безденежного горя! – Что ж за горе, если оно медного гроша не стоит...»

Капиталист... Мера ценности – деньги.

Гончаров – мыслитель, социолог – хочет увидеть идеал в новом типе человека, в Петре Иваныче Адуеве. Хочет... Но Гончаров-художник не дает возможности затуманиться глазам Гончарова – человека размышляющего. В познании истины художник в известном смысле более точен, нежели мыслитель, ибо «художественная литература, – по меткому выражению А.П. Чехова, – потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда безусловная и честная».

С чувством бесспорного превосходства, с высоты своего

возраста и опыта, с вершины своего знания жизни сокрушает дядя наивную и чистую веру племянника в «мира совершенство», и сокрушает с большим успехом. Вот что творится в душе когда-то пылкого, юного Александра:

«Вглядываясь в жизнь, вопрошая сердце, голову, он с ужасом видел, что ни там ни сям не осталось ни одной мечты, ни одной розовой надежды: все уже было назади; туман рассеялся; перед ним разостлалась, как степь, голая действительность. Боже! какое необозримое пространство! какой скучный безотрадный вид! Прошлое погибло, будущее уничтожено, счастья нет: все химера – а живи!»

Адуев-младший опускается до самого жалкого состояния и доходит до попытки самоубийства. Гончаров не щадит своего героя – развенчивает полностью. Нет сомнений: да, именно так и бывает с разочаровавшимися в жизни людьми.

«Научите же меня, дядюшка, по крайней мере, что мне делать теперь? Как вы вашим умом разрешите эту задачу?» – восклицает в полном бессилии Александр. И получает ответ: «Что делать? Да... ехать в деревню».

И, проклиная город, где он похоронил свои лучшие чувства и утратил жизненные силы, Александр возвращается к «весям и пажитям»: едет назад в деревню. Александр не одержал победы. Ее одержал дядя. Одержал полностью.

Напрасно Александр едет в деревню, надеясь там на чудо воскрешения. Воскрешение невозможно, возможно только преображение. И оно происходит. Как это ни странно, но

именно в деревне Александр начал тосковать по Петербургу, тому самому злему, мрачному, бездушному Петербургу, который он так недавно предавал анафеме. В мозгу преобразенного Александра зашевелились новые мысли: «Чем дядюшка лучше меня? Разве я не могу отыскать себе дороги?.. нельзя же погибнуть здесь!.. А моя карьера, а fortuna?.. я только очень отстал... да за что же?..» И Александр Федоров Адуев мчится обратно в Петербург делать свою карьеру и fortuna!

«...к вам приедет не сумасброд, не мечтатель, не разочарованный, не провинциал, а просто человек, каких в Петербурге много и каким бы давно мне пора быть», – пишет он тетушке.

Я давно заметил такое явление жизни: некоторые молодые люди, склонные к идеализации действительности, мечущие громы и молнии против любых проявлений человеческих слабостей, требующие от других идеального поведения, – повзрослев и увидав своих сверстников, людей, может быть, и не таких уж идеальных, ушедших далеко вперед по пути обыкновенного жизненного продвижения, вдруг как бы спохватываются и начинают их догонять. Догонять во что бы то ни стало! И тут эти самые милые требовательные идеалисты превращаются в людей чрезвычайно практических, не брезгающих никакими средствами в достижении их запоздалых целей, и куда более скверных, нежели те, кого они так недавно упрекали во всех смертных грехах.

То же произошло и с Александром. Наивный, чистый провинциал-идеалист становится, попросту говоря, чудовищем. Гончаров развенчал своего героя до конца. Вот, как бы говорит автор, таков конец человека, входящего в жизнь с надуманными представлениями о ней. Сначала он разбивает свой идеальный лоб о реальные острые углы жизни, потом этот лоб твердеет и на нем, этом лбу, вырастает твердый нарост, человек становится носорогом.

Но каковы же плоды победы Петра Иваныча, любимого героя автора? Героя, в котором Гончаров видел человека дела, человека труда, способного на борьбу со всероссийским застоєм? Как это ни странно и даже ни алогично, плоды победы дядюшки один другого горше. Человек реального взгляда на вещи сначала духовно убил своего племянника, который по-своему был даже мил его сердцу, и чуть не довел до чахотки любимую жену Лизавету Александровну. В конце концов Петр Иваныч собирается продать свой завод, бросить службу, отказаться от звания тайного советника и мечтает об одном – уехать в Италию, где, может быть, ему удастся продлить жизнь своей жены.

Племянник превратился в дядю, да еще с «припеком»! Дядя в какой-то степени превращается в племянника. Совершенно невольно Гончаров, доказывающий нам преимущества трезвого разума и расчета, криком кричит о том, что любовь к людям выше всякого расчета и бездушного дела. Именно как истинный художник Гончаров не видел в свое

время выхода из этой драматической коллизии: возможности сочетать большое дело с истинно человеческой сущностью. Всякое дело, если оно является только средством личного преуспеяния, становится тяжким, а порой и гибельным для причастных к нему людей. Мир предпринимательства жесток.

Гончаров-мыслитель и Гончаров-художник боролись на протяжении всего романа. Победил Гончаров-художник. И мы с полным правом можем отнести его к тем выдающимся писателям прошлого века, реализм которых, по словам Ф.Энгельса, «может проявиться даже независимо от взглядов».

Юношу или девушку, приславших мне записку с вопросом: «Как жить – чувством или разумом?» – я попросил бы прочесть и перечесть «Обыкновенную историю». Правда, в романе Гончарова не найти прямого ответа на такой вопрос. Но этот старый роман очень поможет молодым людям самостоятельно найти ответы на некоторые важные вопросы, которые ставит перед ними век двадцатый.

Виктор Розов

Часть первая

I

Однажды летом, в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялись с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса.

Только единственный сын Анны Павловны, Александр Федорыч, спал, как следует спать двадцатилетнему юноше, богатырским сном; а в доме все суетились и хлопотали. Люди ходили на цыпочках и говорили шепотом, чтобы не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнет, громко заговорит, сейчас, как раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожного строгим выговором, обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком.

На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятерых, хотя все господское семейство только и состояло, что из Анны Павловны да Александра Федорыча. В сарае вытирали и подмазывали повозку. Все были заняты и работали до поту лица. Барбос только ничего не делал, но и тот по-своему принимал участие в общем движении. Когда мимо его проходил лакей, кучер или шмыгала девка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего, а сам глазами, кажется,

спрашивал: «Скажут ли мне, наконец, что у нас сегодня за суматоха?»»

А суматоха была оттого, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. Убийственный для нее день! От этого она такая грустная и расстроенная. Часто, в хлопотах, она откроет рот, чтоб приказать что-нибудь, и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит, она отвернется в сторону и оботрет, если успеет, слезу, а не успеет, так уронит ее в чемодан, в который сама укладывала Сашенькино белье. Слезы давно кипят у ней в сердце; они подступили к горлу, давят грудь и готовы брызнуть в три ручья; но она как будто берегла их на прощанье и изредка тратила по капельке.

Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевал тоже камердинер Сашеньки, Евсей. Он отправлялся с барином в Петербург, покидал самый теплый угол в дому, за лежанкой, в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве Анны Павловны и – что всего важнее для Евсея – первой ее ключницы.

За лежанкой только и было места, чтоб поставить два стула и стол, на котором готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занимал место и за печкой и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама.

История об Аграфене и Евсее была уж старая история в доме. О ней, как обо всем на свете, поговорили, позлословили их обоих, а потом, так же как и обо всем, замолчали. Сама

барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целые десять лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начтут десять счастливых? Зато вот настал и миг утраты! Прощай, теплый угол, прощай, Аграфена Ивановна, прощай, игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка – все прощай!

Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена, насупясь, суетилась по хозяйству. У ней горе выразалось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай и вместо того, чтоб первую чашку крепкого чаю подать, по обыкновению, барыне, выплеснула его вон: «никому, дескать, не доставайся», и твердо перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валялись из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет; не отворит шкафа и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на все и на всех. Впрочем, это вообще было главною чертою в ее характере. Она никогда не была довольна; все не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую для нее минуту характер ее обнаруживался во всем своем пафосе. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея.

– Аграфена Ивановна!.. – сказал он жалобно и нежно, что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре.

– Ну, что ты, разиня, тут расселся? – отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. – Пусти прочь: надо полотенце достать.

– Эх, Аграфена Ивановна!.. – повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчас опять опускаясь, когда

она взяла полотенце.

– Только хнычет! Вот пострел навязался! Что это за наказание, господи! и не отвяжется!

И она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку.

– Аграфена! – раздалось вдруг из другой комнаты, – ты никак с ума сошла! разве не знаешь, что Сашенька почивает? Подралась, что ли, с своим возлюбленным на прощанье?

– Не пошевелись для тебя, сиди, как мертвая! – прошипела по-змеиному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать ее в куски.

– Прощайте, прощайте! – с громаднейшим вздохом сказал Евсей, – последний денек, Аграфена Ивановна!

– И слава богу! пусть унесут вас черти отсюда: просторнее будет. Да пусти прочь, негде ступить: протянул ноги-то!

Он тронул было ее за плечо – как она ему ответила! Он опять вздохнул, но с места не двигался; да напрасно и двинулся бы: Аграфене этого не хотелось. Евсей знал это и не смущался.

– Кто-то сядет на мое место? – промолвил он, все со вздохом.

– Леший! – отрывисто отвечала она.

– Дай-то бог! лишь бы не Прошка. А кто-то в дураки с вами станет играть?

– Ну хоть бы и Прошка, так что ж за беда? – со злостью заметила она. Евсей встал.

– Вы не играйте с Прошкой, ей-богу, не играйте! – сказал

он с беспокойством и почти с угрозой.

– А кто мне запретит? ты, что ли, образина этакая?

– Матушка, Аграфена Ивановна! – начал он умоляющим голосом, обняв ее за талию, сказал бы я, если б у ней был хоть малейший намек на талию.

Она отвечала на объятие локтем в грудь.

– Матушка, Аграфена Ивановна! – повторил он, – будет ли Прошка любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник: ни одной женщине проходу не даст. А я-то! э-эх! Вы у меня, что синь-порох в глазу! Если б не барская воля, так... эх!..

Он при этом крякнул и махнул рукой. Аграфена не выдержала: и у ней, наконец, горе обнаружилось в слезах.

– Да отстанешь ли ты от меня, окаянный? – говорила она плача, – что мелешь, дуралей! Свяжусь я с Прошкой! разве не видишь сам, что от него путного слова не добьешься? только и знает, что лезет с ручищами...

– И к вам лез? Ах, мерзавец! А вы, небось, не скажете! Я бы его...

– Полезь-ка, так узнает! Разве нет в дворне женского пола, кроме меня? С Прошкой свяжусь! вишь, что выдумал! Подле него и сидеть-то тошно – свинья свиньей! Он, того и гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под рук – и не увидишь.

– Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придет – лукавый ведь силен, – так лучше Гришку посадите тут: по край-

ности малый смиренный, работающий, не зубоскал...

– Вот еще выдумал! – накинулась на него Аграфена, – что ты меня всякому навязываешь, разве я какая-нибудь... Пошел вон отсюда! Много вашего брата, всякому стану вешаться на шею: не таковская! С тобой только, таким лешим, попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь... а то выдумал!

– Бог вас награди за вашу добродетель! как камень с плеч! – воскликнул Евсей.

– Обрадовался! – зверски закричала она опять, – есть чему радоваться – радуйся!

И губы у ней побелели от злости. Оба замолчали.

– Аграфена Ивановна! – робко сказал Евсей немного погодя.

– Ну, что еще?

– Я ведь и забыл: у меня нынче с утра во рту маковой росинки не было.

– Только и дела!

– С горя, матушка.

Она достала с нижней полки шкафа, из-за головы сахару, стакан водки и два огромные ломтя хлеба с ветчиной. Все это давно было приготовлено для него ее заботливой рукой. Она сунула ему их, как не суют и собакам. Один ломоть упал на пол.

– На вот, подавись! О, чтоб тебя... да тише, не чавкай на весь дом.

Она отвернулась от него с выражением будто ненависти, а он медленно начал есть, глядя исподлобья на Аграфену и прикрывая одною рукою рот.

Между тем в воротах показался ямщик с тройкой лошадей. Через шею коренной переброшена была дуга. Колокольчик, привязанный к седелке, глухо и несвободно ворочал языком, как пьяный, связанный и брошенный в караульную. Ямщик привязал лошадей под навесом сарая, снял шапку, достал оттуда грязное полотенце и отер пот с лица. Анна Павловна, увидев его из окна, побледнела. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену.

– Поди-ка на цыпочках, тихохонько, посмотри, спит ли Сашенька? – сказала она. – Он, мой голубчик, проспит, пожалуй, и последний денек: так и не нагляжусь на него. Да нет, куда тебе! ты, того гляди, влезешь как корова! я лучше сама...

И пошла.

– Поди-ка ты, не корова! – ворчала Аграфена, воротясь к себе. – Вишь, корову нашла! много ли у тебя этаких коров-то?

Навстречу Анне Павловне шел и сам Александр Федорыч, белокурый молодой человек, в цвете лет, здоровья и сил. Он весело поздоровался с матерью, но, увидев вдруг чемодан и узлы, смутился, молча отошел к окну и стал чертить пальцем по стеклу. Через минуту он уже опять говорил с матерью и

беспечно, даже с радостью смотрел на дорожные сборы.

– Что это ты, мой дружок, как заспался, – сказала Анна Павловна, – даже личико отекло? Дай-ка вытру тебе глаза и щеки розовой водой.

– Нет, маменька, не надо.

– Чего ты хочешь позавтракать: чайку прежде или кофейку? Я велела сделать и битое мясо со сметаной на сковородке – чего хочешь?

– Все равно, маменька.

Анна Павловна продолжала укладывать белье, потом остановилась и посмотрела на сына с тоской.

– Саша!.. – сказала она через несколько времени.

– Чего изволите, маменька?

Она медлила говорить, как будто чего-то боялась.

– Куда ты едешь, мой друг, зачем? – спросила она, наконец, тихим голосом.

– Как куда, маменька? в Петербург, затем... затем... чтоб...

– Послушай, Саша, – сказала она в волнении, положив ему руку на плечо, по-видимому с намерением сделать последнюю попытку, – еще время не ушло: подумай, останься!

– Останься! как можно! да ведь и... белье уложено, – сказал он, не зная, что выдумать.

– Уложено белье! да вот... вот... вот... гляди – и не уложено.

Она в три приема вынула все из чемодана.

– Как же это так, маменька? собрался – и вдруг опять! Что скажут...

Он опечалился.

– Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачем ты едешь? Искать счастья? Да разве тебе здесь нехорошо? разве мать день-деньской не думает о том, как бы угодить всем твоим прихотям? Конечно, ты в таких годах, что одни материнские угождения не составляют счастья; да я и не требую этого. Ну, погляди вокруг себя: все смотрят тебе в глаза. А дочка Марьи Карповны, Сонюшка? Что... покраснел? Как она, моя голубушка – дай бог ей здоровья – любит тебя: слышь, третью ночь не спит!

– Вот, маменька, что вы! она так...

– Да, да, будто я не вижу... Ах! чтоб не забыть: она взяла обрубить твои платки – «я, говорит, сама, сама, никому не дам, и метку сделаю», – видишь, чего же еще тебе? Остайся!

Он слушал молча, поникнув головой, и играл кистью своего шлафрока.

– Что ты найдешь в Петербурге? – продолжала она. – Ты думаешь, там тебе такое же житье будет, как здесь? Э, мой друг! Бог знает, чего насмотришься и натерпишься: и холод, и голод, и нужду – все перенесешь. Злых людей везде много, а добрых не скоро найдешь. А почет – что в деревне, что в столице – все тот же почет. Как не увидишь петербургского житья, так и покажется тебе, живучи здесь, что ты первый в мире; и во всем так, мой милый! Ты же воспитан, и ловок, и

хорош. Мне бы, старухе, только оставалось радоваться, глядя на тебя. Женился бы, послал бы бог тебе деточек, а я бы нянчила их – и жил бы без горя, без забот, и прожил бы век свой мирно, тихо, никому бы не позавидовал; а там, может, и не будет хорошо, может, и помянешь слова мои... Останься, Сашенька, – а?

Он кашлянул и вздохнул, но не сказал ни слова.

– А посмотри-ка сюда, – продолжала она, отворяя дверь на балкон, – и тебе не жаль покинуть такой уголок?

С балкона в комнату пахнуло свежестью. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой – темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу.

Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет.

– Погляди-ка, – говорила она, – какой красотой бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей соберем; а вон и пшеничка есть, и гречиха; только гречиха нынче не то, что прошлый год: кажется, плоха будет. А лес-то, лес-то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость

божия! Дровец с своего участка мало-мало на тысячу продадим. А дичи, дичи что! и ведь все это твое, милый сынок: я только твоя приказчица. Погляди-ка, озеро: что за великолепиие! истинно небесное! рыба так и ходит; одну осетрину покупаем, а то ерши, окуни, караси кишмя-кишат: и на себя и на людей идет. Вон твои коровки и лошадки пасутся. Здесь ты один всему господин, а там, может быть, всякий станет помыкать тобой. И ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда, в омут, может быть, прости господи... Останься!

Он молчал.

– Да ты не слушаешь, – сказала она. – Куда это ты так пристально загляделся?

Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеей вилась дорога и убегала за лес, дорога в обетованную землю, в Петербург. Анна Павловна молчала несколько минут, чтоб собраться с силами.

– Так вот что! – проговорила она, наконец, уныло. – Ну, мой друг, бог с тобой! поезжай, уж если тебя так тянет отсюда: я не удерживаю! По крайней мере не скажешь, что мать заедает твою молодость и жизнь.

Бедная мать! вот тебе и награда за твою любовь! Того ли ожидала ты? В том-то и дело, что матери не ожидают наград. Мать любит без толку и без разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, переходит имя ваше из уст в уста, гремят ва-

ши дела по свету – голова старушки трясется от радости, она плачет, смеется и молится долго и жарко. А сынок, большею частью, и не думает поделиться славой с родительницей. Нищи ли вы духом и умом, отметила ли вас природа клеймом безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце или тело, наконец отталкивают вас от себя люди и нет вам места между ними – тем более места в сердце матери. Она сильнее прижимает к груди уродливое, неудавшееся чадо и молится еще долее и жарче.

Как назвать Александра бесчувственным за то, что он решился на разлуку? Ему было двадцать лет. Жизнь от пелен ему улыбалась; мать лелеяла и баловала его, как балуют единственное чадо; нянька все пела ему над колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя; профессеры твердили, что он пойдет далеко, а по возвращении его домой ему улыбнулась дочь соседки. И старый кот, Васька, был к нему, кажется, ласковее, нежели к кому-нибудь в доме.

О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху, как знают о какой-нибудь заразе, которая не обнаружилась, но глухо где-то таится в народе. От этого будущее представлялось ему в радужном свете. Его что-то манило вдаль, но что именно – он не знал. Там мелькали обольстительные призраки, но он не мог разглядеть их; слышались смешанные звуки – то голос славы, то любви: все это приводило его в сладкий трепет.

Ему скоро тесен стал домашний мир. Природу, ласки матери, благоговение няньки и всей дворни, мягкую постель,

вкусные яства и мурлыканье Васьки – все эти блага, которые так дорого ценятся на склоне жизни, он весело менял на неизвестное, полное увлекательной и таинственной прелести. Даже любовь Софьи, первая, нежная и розовая любовь, не удерживала его. Что ему эта любовь? Он мечтал о колоссальной страсти, которая не знает никаких преград и свершает громкие подвиги. Он любил Софью пока маленькою любовью, в ожидании большой. Мечтал он и о пользе, которую принесет отечеству. Он прилежно и многому учился. В аттестате его сказано было, что он знает с дюжину наук да с полдюжины древних и новых языков. Всего же более он мечтал о славе писателя. Стихи его удивляли товарищей. Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только прямой путь; заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы.

Как же ему было остаться? Мать желала – это опять другое и очень естественное дело. В сердце ее отжили все чувства, кроме одного – любви к сыну, и оно жарко ухватилось за этот последний предмет. Не будь его, что же ей делать? Хоть умирать. Уж давно доказано, что женское сердце не живет без любви.

Александр был избалован, но не испорчен домашнею жизнью. Природа так хорошо создала его, что любовь матери и поклонение окружающих подействовали только на добрые его стороны, развили, например, в нем преждевременно сер-

дечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. Это же самое, может быть, расшевелило в нем и самолюбие; но ведь самолюбие само по себе только форма; все будет зависеть от материала, который вольешь в нее.

Гораздо более беды для него было в том, что мать его, при всей своей нежности, не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу с тем, что ожидало его и ожидает всякого впереди. Но для этого нужно было искусную руку, тонкий ум и запас большой опытности, не ограниченной тесным деревенским горизонтом. Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить от него каждую заботу и неприятность, не плакать и не страдать вместо его и в детстве, чтоб дать ему самому почувствовать приближение грозы, справиться с своими силами и подумать о своей судьбе – словом, узнать, что он мужчина. Где же было Анне Павловне понять все это и особенно выполнить? Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть еще? Она уже забыла сыновний эгоизм. Александр Федорыч застал ее за вторичным укладываньем белья и платья. В хлопотах и дорожных сборах она как будто совсем не помнила горя.

– Вот, Сашенька, заметь хорошенько, куда я что кладу, – говорила она. – В самый низ, на дно чемодана, простыни: дюжина. Посмотри-ка, так ли записано?

– Так, маменька.

– Все с твоими метками, видишь – А.А. А все голубушка

Сонюшка! Без нее наши дурищи не скоро бы поворотились. Теперь что? да, наволочки. Раз, две, три, четыре – так, вся дюжина тут. Вот рубашки – три дюжины. Что за полотно – загляденье! это голландское; сама ездила на фабрику к Насилью Васильичу; он выбрал что ни есть наилучшие три куса. Поверяй же, милый, по реестру всякий раз, как будешь принимать от прачки; все новешенькие. Там немного таких рубашек увидишь; пожалуй, и подменят; есть ведь этакие мерзавки, что бога не боятся. Носков двадцать две пары... Знаешь, что я придумала? положить в один носок твой бумажник с деньгами. Их тебе до Петербурга не понадобится, так, сохрани боже! случай какой, чтоб и рыли, да не нашли. И письма к дяде туда же положу: то-то, чай, обрадуется! ведь семнадцать лет и словом не перекинулись, шутка ли! Вот козыночки, вот платки; еще полдюжины у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платков: славный полубатист! У Михеева брала по два с четвертью. Ну, белье все. Теперь платье... Да где Евсей? что он не смотрит? Евсей!

Евсей лениво вошел в комнату.

– Чего изволите? – спросил он еще ленивее.

– Чего изволите? – заговорила Адуева гневно. – Что не смотришь, как я укладываю? А там, как надо что достать в дороге, и пойдешь все перерывать вверх дном! Не может отвязаться от своей возлюбленной – экое сокровище! День-то велик: успеешь! Ты этак там и за барином станешь ходить? Смотри у меня! Вот гляди: это хороший фрак – видишь, ку-

да кладу? А ты, Сашечка, береги его, не всякий день таскай; сукно-то по шестнадцать рублей брали. Куда в хорошие люди пойдешь, и надень, да не садись зря, как ни попало, вон как твоя тетка, словно нарочно, не сядет на пустой стул или диван, а так и норовит плюхнуть туда, где стоит шляпа или что-нибудь такое; намедни на тарелку с вареньем села – такого сраму наделала! Куда попроще в люди, вот этот фрак масака надевай. Теперь жилеты – раз, два, три, четыре. Двое брюк. Э! да платья-то года на три станет. Ух! устала! шутка ли: целое утро возилась! Поди, Евсей. Поговорим, Сашенька, о чем-нибудь другом. Ужо гости приедут, не до того будет.

Она села на диван и посадила его подле себя.

– Ну, Саша, – сказала она, помолчав немного, ты теперь едешь на чужую сторону...

– Какая «чужая» сторона, Петербург: что вы, маменька!

– Погоди, погоди – выслушай, что я хочу сказать! Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты нагладишься, и хорошего, и худого. Надеюсь, он, отец мой небесный, подкрепит тебя; а ты, мой друг, пуще всего не забывай его, помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чем. Достигнешь там больших чинов, в знать войдешь – ведь мы не хуже других: отец был дворянин, майор, – все-таки смирайся перед господом богом: молись и в счастье и в несчастье, а не по пословице: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Иной, пока везет ему, и в церковь не заглянет, а как придет невмочь – и пой-

дет рублевые свечи ставить да нищих оделять: это большой грех. К слову пришлось о нищих. Не трать на них денег попустому, помногу не давай. На что баловать? их не удивишь. Они пропьют да над тобой же насмеются. У тебя, я знаю, мягкая душа: ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нет, это не нужно; бог подаст! Будешь ли ты посещать храм божий? будешь ли ходить по воскресеньям к обедне?

Она вздохнула.

Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь; а в деревне, только из угождения матери, сопровождал ее к обедне. Ему совестно было солгать. Он молчал. Мать поняла его молчание и опять вздохнула.

– Ну, я тебя не неволю, – продолжала она, – ты человек молодой: где тебе быть так усердну к церкви божией, как нам, старикам? Еще, пожалуй, служба помешает или засидишься поздно в хороших людях и проспишь. Бог пожалеет твоей молодости. Не тужи: у тебя есть мать. Она не проспит. Пока во мне останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы в глазах и бог терпит грехам моим, я ползком дотащусь, если не хватит сил дойти, до церковного порога; последний вздох отдам, последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебе и здоровье, и чинов, и крестов, и небесных и земных благ. Неужели-то он, милосердый отец, презрит молитвой бедной старухи? Мне самой ничего не надо. Отними он у меня все: здоровье, жизнь, пошли слепоту – тебе лишь

подай всякую радость, всякое счастье и добро...

Она не договорила, слезы закапали у ней из глаз.

Александр вскочил с места.

– Маменька... – сказал он.

– Ну, сядь, сядь! – отвечала она, наскоро утирая слезы, – мне еще много осталось поговорить... Что бишь я хотела сказать? из ума вон... Вишь, нынче какая память у меня... да! блюда посты, мой друг: это великое дело! В среду и пятницу – бог простит; а в великий пост – боже оборони! Вот Михайло Михайлыч и умным человеком считается, а что в нем? Что мясоед, что страстная неделя – все одно жрет. Даже волос дыбом становится! Он вон и бедным помогает, да будто его милостыня принята господом? Слышь, подал раз старику красненькую, тот взял ее, а сам отвернулся да плюнул. Все кланяются ему и в глаза-то бог знает что наговорят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого.

Александр слушал с некоторым нетерпением и взглядывал по временам в окно, на дальнюю дорогу.

Она замолчала на минуту.

– Береги пуще всего здоровье, – продолжала она. – Как заболеешь – чего боже оборони! – опасно, напиши... я соберу все силы и приеду. Кому там ходить за тобой? Норовят еще обобрать больного. Не ходи ночью по улицам; от людей зверского вида удаляйся. Береги деньги... ох, береги на черный день! Трать с толком. От них, проклятых, всякое добро и всякое зло. Не мотай, не заводи лишних прихотей. Ты

будешь аккуратно получать от меня две тысячи пятьсот рублей в год. Две тысячи пятьсот рублей не шутка. Не заводи роскоши никакой, ничего такого, но и не отказывай себе в чем можно; захочется полакомиться – не скупись. – Не предавайся вину – ох, оно первый враг человека! Да еще (тут она понизила голос) берегись женщин! Знаю я их! Есть такие бесстыдницы, что сами на шею будут вешаться, как увидят этакого-то...

Она с любовью посмотрела на сына.

– Довольно, маменька; я бы позавтракал? – сказал он почти с досадой.

– Сейчас, сейчас... еще одно слово...

– На мужних жен не зарься, – спешила она досказать, – это великий грех! «Не пожелай жены ближнего твоего», сказано в писании. Если же там какая-нибудь станет до свадьбы добираться – боже сохрани! не моги и подумать! Они готовы подцепить, как увидят, что с денежками да хорошенький. Разве что у начальника твоего или у какого-нибудь знатного да богатого вельможи разгорятся на тебя зубы и он захочет выдать за тебя дочь – ну, тогда можно, только отпиши: я кое-как дотащусь, посмотрю, чтоб не подсунули так какую-нибудь, лишь бы с рук сбить: старую девку или дрянь. Этакого женишка всякому лестно залучить. Ну, а коли ты сам полюбишь да выдастся хорошая девушка – так того... – тут она еще тише заговорила... – Сонюшку-то можно и в сторону. (Старушка, из любви к сыну, готова была покривить душой.)

Что в самом деле Марья Карповна замечтала! ты дочке ее не пара. Деревенская девушка! на тебя и не такие польстятся.

– Софью! нет, маменька, я ее никогда не забуду! – сказал Александр.

– Ну, ну, друг мой, успокойся! ведь я так только. Послужи, воротись сюда, и тогда что бог даст; невесты не уйдут! Коли не забудешь, так и того... Ну, а...

Она что-то хотела сказать, но не решалась, потом наклонилась к уху его и тихо спросила:

– А будешь ли помнить... мать?

– Вот до чего договорились, – перервал он, – велите скорей подавать что там у вас есть: яичница, что ли? Забыть вас! Как могли вы подумать? Бог накажет меня...

– Перестань, перестань, Саша, – заговорила она торопливо, – что ты это накликаешь на свою голову! Нет, нет! что бы ни было, если случится этакой грех, пусть я одна страдаю. Ты молод, только что начинаешь жить, будут у тебя и друзья, женишься – молодая жена заменит тебе и мать, и все... Нет! Пусть благословит тебя бог, как я тебя благословляю.

Она поцеловала его в лоб и тем заключила свои наставления.

– Да что это не едет никто? – сказала она, – ни Марья Карповна, ни Антон Иваныч, ни священник нейдет? уж, чай, обедня кончилась! Ах, вон кто-то и едет! кажется, Антон Иваныч... так и есть: легок на помине.

Кто не знает Антона Иваныча? Это вечный жид. Он су-

ществовал всегда и всюду, с самых древнейших времен, и не переводился никогда. Он присутствовал и на греческих и на римских пирах, ел, конечно, и упитанного тельца, закланного счастливым отцом по случаю возвращения блудного сына.

У нас, на Руси, он бывает разнообразен. Тот, про которого говорится, был таков: у него душ двадцать заложённых и перезаложённых; живет он почти в избе или в каком-то странном здании, похожем с виду на амбар, – ход где-то сзади, через бревна, подле самого плетня; но он лет двадцать постоянно твердит, что с будущей весной приступит к стройке нового дома. Хозяйства он дома не держит. Нет человека из его знакомых, который бы у него отобедал, отужинал или выпил чашку чаю, но нет также человека, у которого бы он сам не делал этого по пятидесяти раз в год. Прежде Антон Иваныч ходил в широких шароварах и казакине, теперь ходит, в будни, в сюртуке и в панталонах, в праздники во фраке бог знает какого покроя. С виду он полный, потому что у него нет ни горя, ни забот, ни волнений, хотя он прикидывается, что весь век живет чужими горестями и заботами; но ведь известно, что чужие горести и заботы не сушат нас: это так заведено у людей.

В сущности, Антона Иваныча никому не нужно, но без него не совершается ни один обряд: ни свадьба, ни похороны. Он на всех званых обедах и вечерах, на всех домашних советах; без него никто ни шагу. Подумают, может быть, что он очень полезен, что там исполнит какое-нибудь важное по-

ручение, тут даст хороший совет, обработает дельце, – во-все нет! Ему никто ничего подобного не поручает; он ничего не умеет, ничего не знает: ни в судах хлопотать, ни быть посредником, ни примирителем, – ровно ничего.

Но зато ему поручают, например, завезти мимоездом поклон от такой-то к такому-то, и он непременно завезет и тут же кстати позавтракает, – уведомить такого-то, что известная-де бумага получена, а какая именно, этого ему не говорят, – передать туда-то кадочку с медом или горсточку семян, с наказом не разлить и не рассыпать, – напомнить, когда кто именинник. Еще Антона Иваныча употребляют в таких делах, которые считают неудобным поручить человеку. «Нельзя Петрушку послать, – говорят, – того и гляди, переверет. Нет, уж пусть лучше Антон Иваныч съездит!» Или: «Неловко послать человека: такой-то или такая-то обидится, а вот лучше Антона Иваныча отправить».

Как бы удивило всех, если б его вдруг не было где-нибудь на обеде или вечере!

– А где же Антон Иваныч? – спросил бы всякий непременно с изумлением. – Что с ним? да почему его нет?

И обед не в обед. Тогда уж к нему даже кого-нибудь и отправят депутатом проведать, что с ним, не заболел ли, не уехал ли? И если он болен, то и родного не порадуют таким участием.

Антон Иваныч подошел к руке Анны Павловны.

– Здравствуйте, матушка Анна Павловна! с обновкой

честь имею вас поздравить.

– С какой это, Антон Иваныч? – спросила Анна Павловна, осматривая себя с ног до головы.

– А мостик-то у ворот! видно, только что сколотили? что, слышу, не пляшут доски под колесами? смотрю, ан новый!

Он, при встречах с знакомыми, всегда обыкновенно поздравляет их с чем-нибудь, или с постом, или с весной, или с осенью; если после оттепели мороз наступит, так с морозом, наступит после морозу оттепель – с оттепелью ...

На этот раз ничего подобного не было, но он что-нибудь да выдумает.

– Вам кланяются Александра Васильевна, Матрена Михайловна, Петр Сергеич, – сказал он.

– Покорно благодарю, Антон Иваныч! Детки здоровы ли у них?

– Слава богу. Я к вам веду благословение божие: за мной следом идет батюшка. А слышали ли, сударыня: наш-то Семен Архипыч?..

– Что такое? – с испугом спросила Анна Павловна.

– Ведь приказал долго жить!

– Что вы! когда?

– Вчера утром. Мне к вечеру же дали знать: прискакал парнишко; я и отправился, да всю ночь не спал. Все в слезах: и утешать-то надо, и распорядиться: там у всех руки опустились: слезы да слезы, – я один.

– Господи, господи боже мой! – говорила Анна Павловна,

качая головой, – жизнь-то наша! Да как же это могло случиться? он еще на той неделе с вами же поклон прислал!

– Да, матушка! ну, да он давненько прихварывал, старик старый: диво, как до сих пор еще не свалился!

– Что за старый! он годом только постарше моего покойника. Ну, царство ему небесное! – сказала, крестясь, Анна Павловна. – Жаль бедной Федосьи Петровны: осталась с деточками на руках. Шутка ли: пятеро, и все почти девочки! А когда похороны?

– Завтра.

– Видно, у всякого свое горе, Антон Иваныч; вот я так сына провожаю.

– Что делать, Анна Павловна, все мы человеки! «Терпи», сказано в священном писании.

– Уж не погневайтесь, что потревожила вас – вместе размыкать горе; вы нас так любите, как родной.

– Эх, матушка Анна Павловна! да кого же мне и любить-то, как не вас? Много ли у нас таких, как вы? Вы цены себе не знаете. Хлопот полон рот: тут и своя стройка вертится на уме. Вчера еще бился целое утро с подрядчиком, да все как-то не сходимся... а как, думаю, не поехать?.. что она там, думаю, одна-то, без меня станет делать? человек не молодой: чай, голову растеряет.

– Дай бог вам здоровья, Антон Иваныч, что не забываете нас! И подлинно сама не своя: такая пустота в голове, ничего не вижу! в горле совсем от слез перегорело. Прошу закусить:

вы и устали и, чай, проголодались.

– Покорно благодарю-с. Признаться, мимоездом пропустил маленькую у Петра Сергеича да перехватил кусочек. Ну, да это не помешает. Батюшка подойдет, пусть благословит! Да вот он и на крыльце!

Пришел священник. Приехала и Марья Карповна с дочерью, полной и румяной девушкой, с улыбкой и заплаканными глазами. Глаза и все выражение лица Софьи явно говорили: «Я буду любить просто, без затей, буду ходить за мужем, как нянька, слушаться его во всем и никогда не казаться умнее его; да и как можно быть умнее мужа? это грех! Стану прилежно заниматься хозяйством, шить; рожу ему полдюжины детей, буду их сама кормить, нянчить, одевать и обшивать». Полнота и свежесть щек ее и пышность груди подтверждали обещание насчет детей. Но слезы на глазах и грустная улыбка придавали ей в эту минуту не такой прозаический интерес.

Прежде всего отслужили молебен, причем Антон Иваныч созвал дворню, зажег свечу и принял от священника книгу, когда тот перестал читать, и передал ее дьячку, а потом отлил в скляночку святой воды, спрятал в карман и сказал: «Это Агафье Никитишне». Сели за стол. Кроме Антона Иваныча и священника, никто по обыкновению не дотронулся ни до чего, но зато Антон Иваныч сделал полную честь этому гомерическому завтраку. Анна Павловна все плакала и украдкой утирала слезы.

– Полно вам, матушка Анна Павловна, слезы-то тратить! – сказал Антон Иваныч с притворной досадой, наполнив рюмку наливкой. – Что вы его, на убой, что ли, отправляете? – Потом, выпив до, половины рюмку, почавкал губами.

– Что за наливка! какой аромат пошел! Этакой, матушка, у нас и по губернии-то не найдешь! – сказал он с выражением большого удовольствия.

– Это тре... те... годнич... ная! – проговорила, всхлипывая, Анна Павловна, – нынче для вас... только... откупорила.

– Эх, Анна Павловна, и смотреть-то на вас тошно, – начал опять Антон Иваныч, – вот некому бить-то вас; бил бы да бил!

– Сами посудите, Антон Иваныч, один сын, и тот с глаз долой: умру – некому и похоронить.

– А мы-то на что? что я вам, чужой, что ли? Да куда еще торопитесь умирать? того гляди, замуж бы не вышли! вот бы поплясал на свадьбе! Да полноте плакать-то!

– Не могу, Антон Иваныч, право не могу; не знаю сама, откуда слезы берутся.

– Этакого молодца взаперти держать! Дайте-ка ему волю, он расправит крылышки, да вот каких чудес наделает: нахватает там чинов!

– Вашими бы устами да мед пить! Да что вы мало взяли пирожка? возьмите еще!

– Возьму-с: вот только этот кусок съем.

– За ваше здоровье, Александр Федорыч! счастливого пути! да возвращайтесь скорее; да женитесь-ка! Что вы, Софья Васильевна, вспыхнули?

– Я ничего... я так...

– Ох, молодежь, молодежь! хе, хе, хе!

– С вами горя не чувствуешь, Антон Иваныч, – сказала Анна Павловна, – так умеете утешить; дай бог вам здоровья! Да выкушайте еще наливочки.

– Выпью, матушка, выпью, как не выпить на прощанье!

Кончился завтрак. Ямщик уже давно заложил повозку. Ее подвезли к крыльцу. Люди выбегали один за другим. Тот нес чемодан, другой – узел, третий – мешок, и опять уходил за чем-нибудь. Как мухи сладкую каплю, люди облепили повозку, и всякий совался туда с руками.

– Вот так лучше положить чемодан, – говорил один, – а тут бы коробок с провизией.

– А куда же они ноги денут? – отвечал другой, – лучше чемодан вдоль, а коробок можно сбоку поставить.

– Так тогда перина будет скатываться, коли чемодан вдоль: лучше поперек. Что еще? уклали ли сапоги-то?

– Я не знаю. Кто укладывал?

– Я не укладывал. Поди-ка погляди – нет ли там наверху?

– Да поди ты.

– А ты что? мне, видишь, некогда!

– Вот еще, вот это не забудьте! – кричала девка, просовывая мимо голов руку с узелком.

– Давай сюда!

– Суньте и это как-нибудь в чемодан; давеча забыли, – говорила другая, привставая на подножку и подавая щеточку и гребенку.

– Куда теперь совать? – сердито закричал на нее дородный лакей, – пошла ты прочь! видишь, чемодан под самым низом!

– Барыня велела; мне что за дело, хоть брось! вишь, черти какие!

– Ну, давай, что ли, сюда скорее; это можно вот тут сбоку в карман положить.

Коренная беспрестанно поднимала и трясла голову. Колокольчик издавал всякий раз при этом резкий звук, напоминавший о разлуке, а пристяжные стояли задумчиво, опустив головы, как будто понимая всю прелесть предстоящего им путешествия, и изредка обмахивались хвостами или протягивали нижнюю губу к коренной лошади. Наконец настала роковая минута. Помолились еще.

– Сядьте, сядьте все! – повелевал Антон Иваныч, – извольте сесть, Александр Федорыч! и ты, Евсей, сядь. Сядь же, сядь! – И сам боком, на секунду, едва присел на стул. – Ну, теперь с богом!

Вот тут-то Анна Павловна заревела и повисла на шею Александру.

– Прощай, прощай, мой друг! – слышалось среди рыданий, – увижу ли я тебя?..

Дальше ничего нельзя было разобрать. В эту минуту слышался звук другого колокольчика: на двор влетела телега, запряженная тройкой. С телеги соскочил, весь в пыли, какой-то молодой человек, вбежал в комнату и бросился на шею Александру.

– Пospelов!.. – Адуев!.. – воскликнули они враз, тиская друг друга в объятиях.

– Откуда ты, как?

– Из дому, нарочно скакал целые сутки, чтоб проститься с тобой.

– Друг! друг! истинный друг! – говорил Адуев со слезами на глазах. – За сто шестьдесят верст прискакать, чтоб сказать прости! О, есть дружба в мире! навек, не правда ли? – говорил пылко Александр, стискивая руку друга и наскакывая на него.

– До гробовой доски! – отвечал тот, тиская руку еще сильнее и наскакывая на Александра.

– Пиши ко мне!

– Да, да, и ты пиши!

Анна Павловна не знала, как и обласкать Пospelова. Отъезд замедлился на полчаса. Наконец собрались.

Все пошли до роши пешком. Софья и Александр в то время, когда переходили темные сени, бросились друг к другу.

– Саша! Милый Саша!.. – Сонечка! – шептали они, и слова замерли в поцелуе.

– Вы забудете меня там? – сказала она слезливо.

– О, как вы меня мало знаете! я ворочусь, поверьте, и никогда другая...

– Вот возьмите скорей: это мои волосы и колечко.

Он проворно спрятал и то и другое в карман.

Впереди пошли Анна Павловна с сыном и с Пospelовым, потом Марья Карловна с дочерью, наконец священник с Антоном Иванычем В некотором отдалении ехала повозка. Ямщик едва сдерживал лошадей. Дворня окружила в воротах Евсея.

– Прощай, Евсей Иваныч, прощай, голубчик, не забывай нас! – слышалось со всех сторон.

– Прощайте, братцы, прощайте, не поминайте лихом!

– Прощай, Евсеюшка, прощай, мой ненаглядный! – говорила мать, обнимая его, – вот тебе образок; это мое благословение. Помни веру, Евсей, не уйди там у меня в бусурманы! а не то прокляну! Не пьянствуй, не воруй; служи барину верой и правдой. Прощай, прощай!..

Она закрыла лицо фартуком и отошла.

– Прощай, матушка! – лениво проворчал Евсей. К нему бросилась девчонка лет двенадцати.

– Простись с сестренкой-то! – сказала одна баба.

– И ты туда же! – говорил Евсей, целуя ее, – ну, прощай, прощай! пошла теперь, босоногая, в избу!

Отдельно от всех, последняя стояла Аграфена. Лицо у нее позеленело.

– Прощайте, Аграфена Ивановна! – сказал протяжно, воз-

высив голос, Евсей и протянул к ней руки.

Она дала себя обнять, но не отвечала на объятие; только лицо ее искривилось.

– На вот тебе! – сказала она, вынув из-под передника и сунув ему мешок с чем-то. – То-то, чай, там с петербургскими-то загуляешь! – прибавила она, поглядев на него искоса. И в этом взгляде выразилась вся тоска ее и вся ревность.

– Я загуляю, я? – начал Евсей. – Да разрази меня на этом месте господь, лопни мои глаза! чтоб мне сквозь землю провалиться, коли я там что-нибудь этакое...

– Ладно! ладно! – недоверчиво бормотала Аграфена, – а сам-то – у!

– Ах, чуть не забыл! – сказал Евсей и достал из кармана засаленную колоду карт. – Натe, Аграфена Ивановна, вам на память; ведь вам здесь негде взять.

Она протянула руку.

– Подари мне, Евсей Иванович! – закричал из толпы Прошка.

– Тебе! да лучше сожгу, чем тебе подарю! – и он спрятал карты в карман.

– Да мне-то отдай, дурачина! – сказала Аграфена.

– Нет, Аграфена Ивановна, что хотите делайте, а не отдам: вы с ним станете играть. Прощайте!

Он, не оглянувшись, махнул рукой и лениво пошел вслед за повозкой, которую бы, кажется, вместе с Александром, ямщиком и лошадьми мог унести на своих плечах.

– Проклятый! – говорила Аграфена, глядя ему вслед и утирая концом платка капавшие слезы.

У рожи остановились. Пока Анна Павловна рыдала и прощалась с сыном, Антон Иваныч потрепал одну лошадь по шее, потом взял ее за ноздри и потряс в обе стороны, чем та, казалось, вовсе была недовольна, потому что оскалила зубы и тотчас же фыркнула.

– Подтяни подпругу у коренной-то, – сказал он ямщику, – вишь, седелка-то на боку!

Ямщик посмотрел на седелку и, увидев, что она на своем месте, не тронулся с козел, а только кнутом поправил немного шлею.

– Ну, пора, бог с вами! – говорил Антон Иваныч, – полно, Анна Павловна, вам мучить-то себя! А вы садитесь, Александр Федорыч; вам надо засветло добраться до Шишкова. Прощайте, прощайте, дай бог вам счастья, чинов, крестов, всего доброго и хорошего, всякого добра и имущества!!! Ну, с богом, трогай лошадей, да смотри там косогором-то легче поезжай! – прибавил он, обращаясь к ямщику.

Александр сел, весь расплаканный, в повозку, а Евсей подошел к барыне, поклонился ей в ноги и поцеловал у ней руку. Она дала ему пятирублевую ассигнацию.

– Смотри же, Евсей, помни: будешь хорошо служить, жению на Аграфене, а не то...

Она не могла говорить дальше. Евсей взобрался на козлы. Ямщик, наскучивший долгим ожиданием, как будто ожил;

он прижал шапку, поправился на месте и поднял вожжи; лошади тронулись сначала легкой рысью. Он хлестнул пристяжных разом одну за другой, они скакнули, вытянулись, и тройка ринулась по дороге в лес. Толпа провожавших осталась в облаке пыли безмолвна и неподвижна, пока повозка не скрылась совсем из глаз. Антон Иваныч опомнился первый.

– Ну, теперь по домам! – сказал он.

Александр смотрел, пока можно было, из повозки назад, потом упал на подушки лицом вниз.

– Не оставьте вы меня, горемычную, Антон Иваныч! – сказала Анна Павловна, – отобедайте здесь!

– Хорошо, матушка, я готов: пожалуй, и отужинаю.

– Да вы бы уж и ночевали.

– Как же: завтра похороны!

– Ах, да! Ну, я вас не неволю. Кланяйтесь Федосье Петровне от меня, – скажите, что я душевно огорчена ее печалью и сама бы навестила, да вот бог, дескать, и мне послал горе – сына проводила.

– Скажу-с, скажу, не забуду.

– Голубчик ты мой, Сашенька! – шептала она, оглядываясь, – и нет уж его, скрылся из глаз!

Адуева просидела целый день молча, не обедала и не ужинала. Зато говорил, обедал и ужинал Антон Иваныч.

– Где-то он теперь, мой голубчик? – скажет только она иногда.

– Уж теперь должен быть в Неплюеве. Нет, что я вру? еще

не в Неплюеве, а подъезжает; там чай будет пить, – отвечает Антон Иваныч.

– Нет, он в это время никогда не пьет.

И так Анна Павловна мысленно ехала с ним. Потом, когда он, по расчетам ее, должен был уже приехать в Петербург, она то молилась, то гадала в карты, то разговаривала о нем с Марьей Карповной.

А он?

С ним мы встретимся в Петербурге.

II

Петр Иванович Адуев, дядя нашего героя, так же как и этот, двадцати лет был отправлен в Петербург старшим своим братом, отцом Александра, и жил там безвыездно семнадцать лет. Он не переписывался с родными после смерти брата, и Анна Павловна ничего не знала о нем с тех пор, как он продал свое небольшое имение, бывшее недалеко от ее деревни.

В Петербурге он слыл за человека с деньгами, и, может быть, не без причины; служил при каком-то важном лице чиновником особых поручений и носил несколько ленточек в петлице фрака; жил на большой улице, занимал хорошую квартиру, держал троих людей и столько же лошадей. Он был не стар, а что называется «мужчина в самой поре» – между тридцатью пятью и сорока годами. Впрочем, он не любил распространяться о своих летах, не по мелкому самолюбию, а вследствие какого-то обдуманного расчета, как будто он намеревался застраховать свою жизнь подороже. По крайней мере в его манере скрывать настоящие лета не видно было суетной претензии нравиться прекрасному полу.

Он был высокий, пропорционально сложенный мужчина, с крупными, правильными чертами смугло-матового лица, с ровной, красивой походкой, с сдержанными, но приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют bel

homme.¹

В лице замечалась также сдержанность, то есть умение владеть собою, не давать лицу быть зеркалом души. Он был того мнения, что это неудобно – и для себя и для других. Таков он был в свете. Нельзя, однако ж, было назвать лица его деревянным: нет, оно было только покойно. Иногда лишь видны были на нем следы усталости – должно быть, от усиленных занятий. Он слыл за деятельного и делового человека. Одевался он всегда тщательно, даже щеголевато, но не чересчур, а только со вкусом; белье носил отличное; руки у него были полны и белы, ногти длинные и прозрачные.

Однажды утром, когда он проснулся и позвонил, человек, вместе с чаем, принес ему три письма и доложил, что приходил какой-то молодой барин, который называл себя Александром Федорычем Адуевым, а его – Петра Иваныча – дядей, и обещался зайти часу в двенадцатом.

Петр Иваныч по обыкновению выслушал это известие покойно, только немного наострил уши и поднял брови.

– Хорошо, поди, – сказал он слуге. Потом взял одно письмо, хотел распечатать, но остановился и задумался.

– Племянник из провинции – вот сюрприз! – ворчал он, – а я надеялся, что меня забыли в том краю! Впрочем, что с ними церемониться! отделаюсь...

Он опять позвонил.

– Скажи этому господину, как придет, что я, вставши, тот-

¹ Представительный человек (франц.)

час уехал на завод и ворочусь через три месяца.

– Слушаю-с, – отвечал слуга, – а с гостинцами что прикажете делать?

– С какими гостинцами?

– Привез их человек: барыня, говорит, деревенских гостинцев прислала.

– Гостинцев?

– Да-с: кадочка меду, мешок сушеной малины...

Петр Иваныч пожал плечами.

– Еще два куска полотна, да варенье...

– Воображаю, хорошо должно быть полотно...

– Полотно хорошее и варенье сахарное.

– Ну, поди, я посмотрю сейчас.

Он взял одно письмо, распечатал и окинул взглядом страницу. Точно крупная славянская грамота: букву *в* заменяли две перечеркнутые сверху и снизу палочки, а букву *к* просто две палочки; писано без знаков препинания.

Адуев стал читать вполголоса:

«М.г. Петр Иваныч!

Будучи с покойным вашим родителем коротко знакомы и приятели, да и вас самих в детстве тешил немало и в доме вашем частенько хлеба и соли отведывал, потому и питаю уверительную надежду на ваше усердие и благорасположение, что не забыли старика, Василья Тихоныча, а мы вас здесь и родителей ваших всячески добром поминаем и бога молим...»

– Что за дичь? От кого это? – сказал Петр Иванович, поглядев на подпись. – Василий Заезжалов! Заезжалов – хоть убей – не помню. Чего он хочет от меня?

И стал читать дальше.

«А моя покорнейшая просьба и докука к вам – не откажите, батюшка, вам в Петербурге не то, что нам, здешним, чай, все известно и все свое да родное. Навязалось на меня проклятое тяжёбное дело, да вот седьмой год и с шеи не могу спихнуть: изволите помнить лесишко, что в двух верстах от моей деревушки? Палата сделала ошибку в купчей, а противник мой, Медведев, и уперся на нее: пункт, говорит, фальшивый, да и только. Медведев тот самый, что в ваших дачах все без спросу рыбу ловил; покойник батюшка ваш гонял его и срамил, хотел на своеволие и губернатору жаловаться, да по доброте, дай бог ему царствие небесное, спускал, а не надо бы щадить этакого злодея. Помогите, батюшка, Петр Иванович; дело теперь в Правительствующем сенате; не знаю там, в каком департаменте и у кого, да вам, чай, сейчас покажут. Съездите к секретарям и сенаторам, склоните их в мою пользу, скажите, что от ошибки, истинно от ошибки в купчей страдаю: для вас все сделают. Там же уж кстати выхлопочите мне патенты на три чина да пришлите ко мне. Еще, батюшка, Петр Иванович, есть дельце до вас крайней потребности: взойдите в сердечное участие к безвинно-угнетенному страдальцу и помогите советом и делом. Есть у нас

в губернском правлении советник Дрожжов, золото, а не человек; умрет, а своего не выдаст; в городе другой квартиры не знаю, как у него, – как приеду, прямо к нему, живу по неделям – и боже сохрани – и подумать у другого остановиться, закормит, запоит; а бостончик от обеда до глубокой ночи. И этакого-то человека обнесли и ныне нудят подать просьбу об отставке. Побывайте, отец родной, у всех вельмож там, внушите им, какой человек Афанасий Иванович: дело ли делать – так и кипит в руках; скажите, что донос, дескать, на него сделан фальшиво, по проискам губернаторского секретаря, – вас послушают, и отпишете с первой почтой ко мне. Да повидайтесь со старинным моим сослуживцем, Костяковым. Я слышал от одного приезжего, Студеницына, вашего же петербургского – чай, изволите знать, – что он живет на Песках; там ребятишки укажут дом; отпишете с той же почтой, не поленитесь, жив ли он, здоров ли, что делает, помнит ли меня? Познакомьтесь и подружитесь с ним: прекрасный человек – душа нараспашку, и балагур такой. Кончаю письмецо еще просьбицей...»

Адуев перестал читать, медленно разорвал письмо на четыре части и бросил под стол в корзинку, потом потянулся и зевнул.

Он взял другое письмо и начал читать также вполголоса.

«Любезный братец, милостивый государь, Петр Иванович!»

– Это что за сестрица! – сказал Адуев, глядя на подпись: – Марья Горбатова... – Он обратил лицо к потолку, припоминая что-то...

– Что бишь это такое? что-то знакомое... ба, вот прекрасно – ведь брат женат был на Горбатовой; это ее сестра, это та... а! помню...

Он нахмурился и стал читать.

«Хотя рок разлучил нас, может быть, навеки и бездна лежит между нами; прошли года...»

Он пропустил несколько строчек и читал далее:

«По гроб жизни буду помнить, как мы вместе, гуляючи около нашего озера, вы, с опасностию жизни и здоровья, влезли по колено в воду и достали для меня в тростнике большой желтый цветок, как из стебелька одного тек какой-то сок и перемарал нам руки, а вы почерпнули картузом воды, дабы мы могли их вымыть; мы очень много тогда этому смеялись. Как я была тогда счастлива! Сей цветок и ныне хранится в книжке...»

Адуев остановился. Видно было, что это обстоятельство ему очень не нравилось; он даже недоверчиво покачал головой.

«А цела ли у вас та ленточка (продолжал он читать), что вы вытащили из моего комода, несмотря на все мои крики и моления...»

– Я вытащил ленточку! – сказал он вслух, сильно нахмурившись. Помолчав, пропустил еще несколько строк и читал:

«А я обрекла себя на незамужнюю жизнь и чувствую себя весьма счастливою; никто не запретит вспоминать сии блаженные времена...»

«А, старая девка! – подумал Петр Иваныч. – Немудрено, что у ней еще желтые цветы на уме! Что там еще?»

«Женаты ли вы, любезнейший братец, и на ком? Кто та милая подруга, украсившая собой путь вашего бытия, назовите мне ее; я буду ее любить, как родную сестру, и в мечтах соединять образ ее с вашим, буду молиться. А если не женаты, то по какой причине – напишите откровенно: ваших тайн никто у меня не прочтет, я буду хранить их на своей груди, их вырвут у меня вместе с сердцем. Не медлите; сгораю нетерпением читать ваши неизъяснимые строки...»

«Нет, вот твои так неизъяснимые строки!» – подумал Петр Иваныч.

«Я не знала (читал он), что милый наш Сашенька вдруг вздумает посетить великолепную столицу, – счастливец! увидит прекрасные дома и магазины, будет наслаждаться роскошью и прижмет к своей груди обожаемого дядю, – а я, я в то время буду лить слезы, вспоминая счастливое время. Если бы я знала о его отъезде, дни и ночи сидела бы и вышила бы для вас подушку: арап с двумя собаками; вы не поверите, как я много раз плакала, глядя на сей узор: что может быть святее дружбы и верности?.. Теперь меня занимает сия одна мысль; ей посвящу дни свои, но не имею

здесь хорошей шерсти, и потому покорнейше прошу, любезнейший братец, выслать вот по этим образчикам, что я тут вложила, что ни есть наилучшей английской шерсти, в самом скором времени, из первого магазина. Но что я говорю? какая ужасная мысль останавливает перо мое! может быть, уже вы забыли нас, и где вам помнить бедную страдальицу, которая удалилась от света и льет слезы? Но нет! я не могу подумать, чтоб вы могли быть извергом, как все мужчины: нет! мне сердце говорит, что вы сохранили к нам ко всем прежние чувства среди роскоши и удовольствий великолепной столицы. Сия мысль служит бальзамом для моего страдающего сердца. Простите, не могу более продолжать, рука моя дрожит...

Остаюсь по гроб ваша

Марья Горбатова.

P. S. Нет ли, братец, у вас хорошеньких книжек? пришлите, если вам не нужно: я бы на каждой странице вспоминала вас, плакала бы, или возьмите в лавке новых, коли недорого. Говорят, очень хороши сочинения господина Загоскина² и господина Марлинского,³ – хоть их; а то я еще видела в газетах

² Загоскин М.Н. (1789–1852) – исторический романист. Наибольшей популярностью в 30-х годах пользовался его роман «Юрий Милославский», проникнутый идеализацией старины и монархическим патриотизмом.

³ Марлинский – литературный псевдоним декабриста А.А. Бестужева (1797–1837). В романе упоминается как автор романтических повестей (30-е годы), отличавшихся эффектной фабулой, возвышенным описанием чувств

заглавие – «О Предрассудках», соч. г-на Пузины, – пришлите – я терпеть не могу предрассудков».

Прочитав, Адуев хотел отправить туда же и это письмо, но остановился.

«Нет, – подумал он, – сберегу: есть охотники до таких писем; иные собирают целые коллекции, – может быть, случится одолжить кого-нибудь».

Он бросил письмо в бисерную корзинку, висевшую на стене, потом взял третье письмо и начал читать:

«Любезнейший мой деверек Петр Иваныч!

Помните ли, как семнадцать годков тому назад мы справляли ваш отъезд? Вот привел бог благословить на дальний путь и собственное чадо. Полюбуйтесь, батюшка, на него да вспомните покойника, нашего голубчика Федора Иваныча: ведь Сашенька весь в него. Бог один знает, что вытерпело мое материнское сердце, отпускаючи его на чужую сторону. Отправляю его, моего друга, прямо к вам: не велела нигде приставать, кроме вас...»

Адуев опять покачал головой.

– Глупая старуха! – проворчал он и читал:

«Он, пожалуй, по неопытности, остановился бы на постоялом дворе, но я знаю, как это может огорчить

и крайне вычурным и риторическим языком. С резкой критикой условного, фальшивого романтизма Марлинского выступил в 1840 году В. Белинский, что привело к решительному падению популярности сочинений Марлинского и его подражателей.

родного дядю, и внушила взъехать прямо к вам. Тот будет у вас радости при свидании! Не оставьте его, любезный деверек, вашими советами и возьмите на свое попечение; передаю его вам с рук на руки».

Петр Иваныч опять остановился.

«Ведь вы там один у него (читал он потом). Присмотрите за ним, не балуйте уж слишком-то, да и не взыскивайте очень строго: взыскать-то будет кому, взыщут и чужие, а приласкать некому, кроме своего; он же сам такой ласковый: вы только увидите его, так и не отойдете. И начальнику-то, у которого он будет служить, скажите, чтоб берег моего Сашеньку и обращался бы с ним понежнее пуще всего: он у меня был нежненький. Остерегайте его от вина и от карт. Ночью, – ведь вы, я чай, в одной комнате будете спать, – Сашенька привык лежать на спине: от этого, сердечный, больно стонет и мечется; вы тихонько разбудите его да перекрестите: сейчас и пройдет, а летом покрывайте ему рот платочком: он его разевает во сне, а проклятые мухи так туда и лезут под утро. Не оставьте его также в случае нужды и деньгами...»

Адуев нахмурился, но вскоре лицо его опять прояснилось, когда он прочел далее:

«А я вышло, что понадобится, да и ему в руки дала теперь тысячу рублей, только чтоб он не тратил их на пустяки, да чтоб у него подлипалы не выманили, ведь там у вас, в столице, слышь, много мошенников и

всяких бессовестных людей. А затем простите, дорогой деверь, – совсем отвыкла писать. Остаюсь душевно почитающая вас невестка

А. Адуева.

Р. С. Посылаю при этом наших деревенских гостинцев – малинки из своего сада, белого медку – чистый, как слеза, – полотна голландского на две дюжины рубашек да домашнего вареньица. Кушайте и носите на здоровье, а выйдут – еще пришлю. Присмотрите и за Евсеєм; он смирный и не пьющий, да, пожалуй там, в столице, избалуется, – тогда можно и посечь».

Петр Иваныч медленно положил письмо на стол, еще медленнее достал сигару и, покатав ее в руках, начал курить. Долго обдумывал он эту штуку, как он называл ее мысленно, которую сыграла с ним его невестка. Он строго разобрал в уме и то, что сделали с ним, и то, что надо было делать ему самому.

Вот на какие посылки разложил он весь этот случай. Племянника своего он не знает, следовательно и не любит, а поэтому сердце его не возлагает на него никаких обязанностей: надо решать дело по законам рассудка и справедливости. Брат его женился, наслаждался супружеской жизнью, – за что же он, Петр Иваныч, обременит себя заботливостью о братнем сыне, он, не наслаждавшийся выгодами супружества? Конечно, не за что.

Но, с другой стороны, представлялось вот что: мать отправила сына прямо к нему, на его руки, не зная, захочет ли он взять на себя эту обузу, даже не зная, жив ли он и в состоянии ли сделать что-нибудь для племянника. Конечно, это глупо; но если дело уже сделано и племянник в Петербурге, без помощи, без знакомых, даже без рекомендательных писем, молодой, без всякой опытности... вправе ли он оставить его на произвол судьбы, бросить в толпе, без наставлений, без совета, и если с ним случится что-нибудь недоброе – не будет ли он отвечать перед совестью?..

Тут кстати Адуев вспомнил, как, семнадцать лет назад, покойный брат и та же Анна Павловна отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сделать для него в Петербурге, он сам нашел себе дорогу... но он вспомнил ее слезы при прощанье, ее благословения, как матери, ее ласки, ее пироги и, наконец, ее последние слова: «Вот, когда вырастет Сашенька – тогда еще трехлетний ребенок, – может быть, и вы, братец, приласкаете его...» Тут Петр Иванович встал и скорыми шагами пошел в переднюю...

– Василий! – сказал он, – когда придет мой племянник, то не отказывай. Да поди узнай, занята ли здесь вверху комната, что отдавалась недавно, и если не занята, так скажи, что я оставляю ее за собой. А! это гостинцы! Ну что мы станем с ними делать?

– Давеча наш лавочник видел, как несли их вверх; он спрашивал, не уступим ли ему мед: «Я, говорит, хорошую цену

дам», и малину берет...

– Прекрасно! отдай ему. Ну, а полотно куда девать? разве не годится ли на чехлы?.. Так спрячь полотно и варенье спрячь – его можно есть: кажется, порядочное.

Только что Петр Иваныч расположился бриться, как явился Александр Федорыч. Он было бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную, юношескую руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы наглядеться на него, а более, кажется, затем, чтобы остановить этот порыв и ограничиться пожатием.

– Мать твоя правду пишет, – сказал он, – ты живой портрет покойного брата: я бы узнал тебя на улице. Но ты лучше его. Ну, я без церемонии буду продолжать бриться, а ты садись вот сюда – напротив, чтобы я мог видеть тебя, и давай беседовать.

За этим Петр Иваныч начал делать свое дело, как будто тут никого не было, и намыливал щеки, натягивая языком то ту, то другую. Александр был сконфужен этим приемом и не знал, как начать разговор. Он приписал холодность дяди тому, что не остановился прямо у него.

– Ну, что твоя матушка? здорова ли? Я думаю, постарела? – спросил дядя, делая разные гримасы перед зеркалом.

– Маменька, слава богу, здорова, кланяется вам, и тетушка Марья Павловна тоже, – сказал робко Александр Федорыч. – Тетушка поручила мне обнять вас... – Он встал и подошел к дяде, чтоб поцеловать его в щеку, или в голову, или

в плечо, или, наконец, во что удастся.

– Тетушке твоей пора бы с годами быть умнее, а она, я вижу, все такая же дура, как была двадцать лет тому назад...

Озадаченный Александр задом воротился на свое место.

– Вы получили, дядюшка, письмо?... – сказал он.

– Да, получил.

– Василий Тихоныч Заезжалов, – начал Александр Федорыч, – убедительно просит вас справиться и похлопотать о его деле...

– Да, он пишет ко мне... У вас еще не перевелись такие ослы?

Александр не знал, что и подумать – так его сразили эти отзывы.

– Извините, дядюшка... – начал он почти с трепетом.

– Что?

– Извините, что я не приехал прямо к вам, а остановился в конторе дилижансов... Я не знал вашей квартиры...

– В чем тут извиняться? Ты очень хорошо сделал. Матушка твоя бот знает что выдумала. Как бы ты ко мне приехал, не зная, можно ли у меня остановиться, или нет? Квартира у меня, как видишь, холостая, для одного: зала, гостиная, столовая, кабинет, еще рабочий кабинет, гардеробная да туалетная – лишней комнаты нет. Я бы стеснил тебя, а ты меня... А я нашел для тебя здесь же в доме квартиру...

– Ах, дядюшка! – сказал Александр, – как мне благодарить вас за эту заботливость?

И он опять вскочил с места с намерением словом и делом доказать свою признательность.

– Тише, тише, не трогай! – заговорил дядя, – бритвы преострые, того и гляди обрежешься сам и меня обрежешь.

Александр увидел, что ему, несмотря на все усилия, не удастся в тот день ни разу обнять и прижать к груди обожаемого дядю, и отложил это намерение до другого раза.

– Комната превеселенькая, – начал Петр Иваныч, – окнами немного в стену приходится, да ведь ты не станешь все у окна сидеть; если дома, так займешься чем-нибудь, а в окна зевать некогда. И недорого – сорок рублей в месяц. Для человека есть передняя. Надо приучаться тебе с самого начала жить одному, без няньки; завести свое маленькое хозяйство, то есть иметь дома свой стол, чай, словом свой угол, – un chez soi, как говорят французы. Там ты можешь свободно принимать кого хочешь... Впрочем, когда я дома обедаю, то милости прошу и тебя, а в другие дни – здесь молодые люди обыкновенно обедают в трактире, но я советую тебе посылать за своим обедом: дома и покойнее и не рискуешь столкнуться бог знает с кем. Так ли?

– Я, дядюшка, очень благодарен...

– Что за благодарность? ведь ты мне родня? я исполняю свой долг. Ну, я теперь оденусь и поеду; у меня и служба и завод...

– Я не знал, дядюшка, что у вас есть завод.

– Стекланный и фарфоровый; впрочем, я не один: нас

трое companions.

– Хорошо идет?

– Да, порядочно; сбываем больше во внутренние губернии на ярмарки. Последние два года – хоть куда! Если б еще этак лет пять, так и того... Один компаньон, правда, не очень надежен – все мотает, да я умею держать его в руках. Ну, до свидания. Ты теперь посмотри город, пофлянируй, пообедай где-нибудь, а вечером приходи ко мне пить чай, я дома буду, – тогда поговорим. Эй, Василий! ты покажешь им комнату и поможешь там устроиться.

«Так вот как здесь, в Петербурге... – думал Александр, сидя в новом своем жилище, – если родной дядя так, что ж прочие?..»

Молодой Адуев ходил взад и вперед по комнате в сильной задумчивости, а Евсей говорил сам с собою, убирая комнату:

«Что это за житье здесь, – ворчал он, – у Петра Ивановича кухня-то, слышь, раз в месяц топится, люди-то у чужих обедают... Эко, господи! ну, народец! нечего сказать, а еще петербургские называются! У нас и собака каждая из своей плоски лакает».

Александр, кажется, разделял мнение Евсея, хотя и молчал. Он подошел к окну и увидел одни трубы, да крыши, да черные, грязные, кирпичные бока домов... и сравнил с тем, что видел, назад тому две недели, из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно.

Он вышел на улицу – суматоха, все бегут куда-то, заня-

тые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтоб не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча, с кем бы то ни было, почему-нибудь интересна. То вот Иван Иванович идет к Петру Петровичу – и все в городе знают, зачем. То Марья Мартыновна едет от вечерни, то Афанасий Савич на рыбную ловлю. Там проскакал сломя голову жандарм от губернатора к доктору, и всякий знает, что ее превосходительство изволит родить, хотя по мнению разных кумушек и бабушек об этом заранее знать не следовало бы. Все спрашивают что: дочку или сына? Барыни готовят парадные чепцы. Вон Матвей Матвееч вышел из дому, с толстой палкой, в шестом часу вечера, и всякому известно, что он идет делать вечерний моцион, что у него без того желудок не варит и что он остановится непременно у окна старого советника, который, также известно, пьет в это время чай. С кем ни встретишься – поклон да пару слов, а с кем и не кланяешься, так знаешь, кто он, куда и зачем идет, и у того в глазах написано: и я знаю, кто вы, куда и зачем идете. Если, наконец, встретятся незнакомые, еще не видавшие друг друга, то вдруг лица обоих превращаются в знаки вопроса; они остановятся и оборотятся назад раза два, а пришедши домой, опишут и костюм и походку нового лица, и пойдут толки и догадки, и кто, и откуда, и зачем. А здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собою.

Александр сначала с провинциальным любопытством

вглядывался в каждого встречного и каждого порядочно одетого человека, принимая их то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя: «Не он ли? – думал он, – не этот ли?» Но вскоре это надоело ему – министры, писатели, посланники встречались на каждом шагу.

Он посмотрел на дома – и ему стало еще скучнее: на него навели тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошной массой тянутся одна за другою. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам, – думал он, – или горка, или зелень, или развалившийся забор», – нет, опять начинается та же каменная ограда одинаких домов, с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, ее преграждает опять то же, а там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево – всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, все одно да одно... нет простора и выхода взгляду: заперты со всех сторон, – кажется, и мысли и чувства людские также заперты.

Тяжелы первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему дико, грустно; его никто не замечает; он потерялся здесь; ни новости, ни разнообразие, ни толпа не развлекают его. Провинциальный эгоизм его объявляет войну всему, что он видит здесь и чего не видел у себя. Он задумывается и мысленно переносится в свой город. Какой отрадный вид! Один дом с остроконечной крышей и с палисадничком из акаций. На крыше надстройка, приют голубей, – купец

Изюмин охотник гонять их: для этого он взял да и выстроил голубятню на крыше; и по утрам и по вечерам, в колпаке, в халате, с палкой, к концу которой привязана тряпица, стоит на крыше и посвистывает, размахивая палкой. Другой дом – точно фонарь: со всех четырех сторон весь в окнах и с плоской крышей, дом давней постройки; кажется, того и гляди, развалится или сгорит от самовозгорания; тес принял какой-то светло-серый цвет. Страшно жить в таком доме, но там живут. Хозяин иногда, правда, посмотрит на скосившийся потолок и покачает головой, примолвив: «Простоит ли до весны? Авось!» – скажет потом и продолжает жить, опасаясь не за себя, а за карман. Подле него кокетливо красуется дикенький дом лекаря, раскинувшийся полукружием, с двумя похожими на будки флигелями, а этот весь спрятался в зелени; тот обернулся на улицу задом, а тут на две версты тянется забор, из-за которого выглядывают с деревьев румяные яблоки, искушение мальчишек. От церквей дома отступили на почтительное расстояние. Кругом их растет густая трава, лежат надгробные плиты. Присутственные места – так и видно, что присутственные места: близко без надобности никто не подходит. А тут, в столице, их и не отличишь от простых домов, да еще, срам сказать, и лавочка тут же в доме. А пройдешь там, в городе, две, три улицы, уж и чуешь вольный воздух, начинаются плетни, за ними огороды, а там и чистое поле с яровым. А тишина, а неподвижность, а скука – и на улице и в людях тот же благодатный застой! И все жи-

вуд вольно, нараспашку, никому не тесно; даже куры и петухи свободно расхаживают по улицам, козы и коровы щиплют траву, ребятишки пускают змей.

А здесь... какая тоска! И провинциал вздыхает, и по забору, который напротив его окон, и по пыльной и грязной улице, и по тряскому мосту, и по вывеске на питейной конторе. Ему противно сознаться, что Исакиевский собор лучше и выше собора в его городе, что зала Дворянского собрания больше залы тамошней. Он сердито молчит при подобных сравнениях, а иногда рискнет сказать, что такую-то материю или такое-то вино можно у них достать и лучше и дешевле, а что на заморские редкости, этих больших раков и раковин, да красных рыбок, там и смотреть не станут, и что вольно, дескать, вам покупать у иностранцев разные материи да безделушки; они обдирают вас, а вы и рады быть олухами! Зато, как он вдруг обрадуется, как посравнит да увидит, что у него в городе лучше икра, груши или калачи. «Так это-то называется груша у вас? – скажет он, – да у нас это *и люди* не станут есть!...»

Еще более взгрустнется провинциалу, как он войдет в один из этих домов, с письмом издалека. Он думает, вот отворятся ему широкие объятия, не будут знать, как принять его, где посадить, как угостить; станут искусно выведывать, какое его любимое блюдо, как ему станет совестно от этих ласк, как он, под конец, бросит все церемонии, расцелует хозяина и хозяйку, станет говорить им *ты*, как будто двадцать

лет знакомы, все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню...

Куда! на него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями; если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают, а адмиральского часу вовсе не знают – ни водки, ни закуски. Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно. В соседней комнате звенят ложками, стаканами: тут-то бы и пригласить, а его искусными намеками стараются выпроводить... Все назаперти, везде колокольчики: не мизерно ли это? да какие-то холодные, нелюдимые лица. А там, у нас, входи смело; если отобедали, так опять для гостя станут обедать; самовар утром и вечером не сходит со стола, а колокольчиков и в магазинах нет. Обнимаются, целуются все, и встречный и поперечный. Сосед там – так настоящий сосед, живут рука в руку, душа в душу; родственник – так родственник: умрет за своего... эх, грустно!

Александр добрался до Адмиралтейской площади и остолбенел. Он с час простоял перед *Медным Всадником*, но не с горьким упреком в душе, как бедный *Евгений*,⁴ а с восторженной думой. Взглянул на Неву, окружающие ее здания – и глаза его засверкали. Он вдруг застыдился своего пристрастия к тряским мостам, палисадникам, разрушенным заборам. Ему стало весело и легко. И суматоха, и толпа – все в глазах его получило другое значение. Замелькали опять надежды, подавленные на время грустным впечатлением; но-

⁴ Евгений – герой поэмы А.С. Пушкина «Медный Всадник» (1833).

вая жизнь отверзала ему объятия и манила к чему-то неизвестному. Сердце его сильно билось. Он мечтал о благородном труде, о высоких стремлениях и преважно выступал по Невскому проспекту, считая себя гражданином нового мира... В этих мечтах воротился он домой.

Вечером, в 11 часов, дядя прислал звать его пить чай.

– Я только что из театра, – сказал дядя, лежа на диване.

– Как жаль, что вы не сказали мне давеча, дядюшка: я бы пошел вместе с вами.

– Я был в креслах, куда ж ты, на колени бы ко мне сел? – сказал Петр Иванович, – вот завтра поди себе один.

– Одному грустно в толпе, дядюшка; не с кем поделиться впечатлением...

– И незачем! надо уметь и чувствовать и думать, словом жить одному; со временем понадобится. Да еще тебе до театра надо одеться прилично.

Александр посмотрел на свое платье и удивился словам дяди. «Чем же я неприлично одет? – думал он, – синий сюртук, синие панталоны...»

– У меня, дядюшка, много платья, – сказал он, – шил Кенигштейн; он у нас на губернатора работает.

– Нужды нет, все-таки оно не годится, на днях я завезу тебя к своему портному; но это пустяки. Есть о чем важнее поговорить. Скажи-ка, зачем ты сюда приехал?

– Я приехал... жить.

– Жить? то есть если ты сумеешь под этим есть, пить

и спать, так не стоило труда ездить так далеко: тебе так не удастся ни поесть, ни поспать здесь, как там, у себя; а если ты думал что-нибудь другое, так объяснись...

– Пользоваться жизнью, хотел я сказать, – прибавил Александр, весь покраснев, – мне в деревне надоело – все одно и то же...

– А! вот что! Что ж, ты наймешь бельэтаж на Невском проспекте, заведешь карету, составишь большой круг знакомства, откроешь у себя дни?

– Ведь это очень дорого, – заметил наивно Александр.

– Мать пишет, что она дала тебе тысячу рублей: этого мало, – сказал Петр Иванович. – Вот один мой знакомый недавно приехал сюда, ему тоже надоело в деревне; он хочет пользоваться жизнью, так тот привез пятьдесят тысяч и ежегодно будет получать по стольку же. Он точно будет пользоваться жизнью в Петербурге, а ты – нет! ты не за тем приехал.

– По словам вашим, дядюшка, выходит, что я как будто сам не знаю, зачем я приехал.

– Почти так; это лучше сказано: тут есть правда; только все еще нехорошо. Неужели ты, как сбирался сюда, не задал себе этого вопроса: зачем я еду? Это было бы не лишнее.

– Прежде, нежели я задал себе этот вопрос, у меня уже был готов ответ! – с гордостью отвечал Александр.

– Так что же ты не говоришь? ну, зачем?

– Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности; во мне кипело желание уяснить

и осуществить...

Петр Иваныч приподнялся немного с дивана, вынул из рта сигару и наострил уши.

– Осуществить те надежды, которые толпились...

– Не пишешь ли ты стихов? – вдруг спросил Петр Иваныч.

– И прозой, дядюшка; прикажете принести?

– Нет, нет!.. после когда-нибудь; я так только спросил.

– А что?

– Да ты так говоришь...

– Разве нехорошо?

– Нет, – может быть, очень хорошо, да дико.

– У нас профессор эстетики так говорил и считался самым красноречивым профессором, – сказал смутившийся Александр.

– О чем же он так говорил?

– О своем предмете.

– А!

– Как же, дядюшка, мне говорить?

– Попроше, как все, а не как профессор эстетики. Впрочем, этого вдруг растолковать нельзя; ты после сам увидишь. Ты, кажется, хочешь сказать, сколько я могу припомнить университетские лекции и перевести твои слова, что ты приехал сюда делать карьеру и фортуны, – так ли?

– Да, дядюшка, карьеру...

– И фортуны, – прибавил Петр Иваныч, – что за карьера без фортуны? Мысль хороша – только... напрасно ты приез-

жал.

– Отчего же? Надеюсь, вы не по собственному опыту говорите это? – сказал Александр, глядя вокруг себя.

– Дельно замечено. Точно, я хорошо обставлен, и дела мои недурны. Но, сколько я посмотрю, ты и я – большая разница.

– Я никак не смею сравнивать себя с вами...

– Не в том дело; ты, может быть, вдесятеро умнее и лучше меня... да у тебя, кажется, натура не такая, чтоб поддалась новому порядку; а тамошний порядок – ой, ой! Ты, вон, изнежен и избалован матерью; где тебе выдержать все, что я выдержал? Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать здесь некогда; подобные нам ездят сюда дело делать.

– Может быть, я в состоянии что-нибудь сделать, если вы не оставите меня вашими советами и опытностью...

– Советовать – боюсь. Я не ручаюсь за твою деревенскую натуру: выйдет вздор – станешь пенять на меня; а мнение свое сказать, изволь – не отказываюсь, ты слушай или не слушай, как хочешь. Да нет! я не надеюсь на удачу. У вас там свой взгляд на жизнь: как переработаете его? Вы помешались на любви, на дружбе, да на прелестях жизни, на счастье; думают, что жизнь только в этом и состоит: ах да ох! Плачут, хнычут да любезничают, а дела не делают... как я отучу тебя от всего этого? – мудрено!

– Я постараюсь, дядюшка, приноровиться к современным понятиям. Уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на корабли, принесшие нам дары дальних стран, я подумал об

успехах современного человечества, я понял волнение этой разумно-деятельной толпы, готов слиться с нею...

Петр Иванович при этом монологе значительно поднял брови и пристально посмотрел на племянника. Тот остановился.

– Дело, кажется, простое, – сказал дядя, – а они бог знает что заберут в голову... «разумно-деятельная толпа»!! Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век свой славно: был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и красноречивым человеком, верил бы в вечную и неизменную дружбу и любовь, в родство, счастье, женился бы и незаметно дожил бы до старости и в самом деле был бы по-своему счастлив; а по-здешнему ты счастлив не будешь: здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном.

– Как, дядюшка, разве дружба и любовь – эти священные и высокие чувства, упавшие как будто ненарочно с неба в земную грязь...

– Что?

Александр замолчал.

– «Любовь и дружба в грязь упали»! Ну, как ты этак здесь брякнешь?

– Разве они не те же и здесь, как там? – хочу я сказать.

– Есть и здесь любовь и дружба, – где нет этого добра? только не такая, как там, у вас; со временем увидишь сам... Ты прежде всего забудь эти *священные* да *небесные* чувства, а приглядывайся к делу так, проще, как оно есть, право, лучше, будешь и говорить проще. Впрочем, это не мое дело. Ты

приехал сюда, не ворочаться же назад: если не найдешь, чего искал, пеняй на себя. Я предупрежу тебя, что хорошо, по моему мнению, что дурно, а там, как хочешь... Попробуем, может быть, удастся что-нибудь из тебя сделать. Да! матушка просила снабжать тебя деньгами... Знаешь, что я тебе скажу: не проси у меня их: это всегда нарушает доброе согласие между порядочными людьми. Впрочем, не думай, чтоб я тебе отказывал: нет, если придется так, что другого средства не будет, так ты, нечего делать, обратись ко мне... Все у дяди лучше взять, чем у чужого, по крайней мере без процентов. Да чтоб не прибегать к этой крайности, я тебе поскорей найду место, чтоб ты мог доставать деньги. Ну, до свиданья. Заходи поутру, мы переговорим, что и как начать.

Александр Федорыч пошел домой.

– Послушай, не хочешь ли ты поужинать? – сказал Петр Иванович ему вслед.

– Да, дядюшка... я бы, пожалуй...

– У меня ничего нет.

Александр молчал. «Зачем же это обязательное предложение?» – думал он.

– Стола я дома не держу, а трактиры теперь заперты, – продолжал дядя. – Вот тебе и урок на первый случай – привыкай. У вас встают и ложатся по солнцу, едят, пьют, когда велит природа; холодно, так наденут себе шапку с наушниками, да и знать ничего не хотят; светло – так день, темно – так ночь. У тебя вон слипаются глаза, а я еще за работу сяду:

к концу месяца надо счета свести. Дышите вы там круглый год свежим воздухом, а здесь и это удовольствие стоит денег – и все так! совершенные антиподы! Здесь вот и не ужинают, особенно на свой счет, и на мой тоже. Это тебе даже полезно: не станешь стонать и метаться по ночам, а крестить мне тебя некогда.

– К этому, дядюшка, легко привыкнуть...

– Хорошо, если так. А у вас все еще по-старому: можно прийти в гости ночью и сейчас ужин состряпают?

– Что ж, дядюшка, надеюсь этой черты порицать нельзя. Добродетель русских...

– Полно! какая тут добродетель. От скуки там всякому мерзавцу рады: «Милости просим, кушай, сколько хочешь, только займи как-нибудь нашу праздность, помоги убить время да дай взглянуть на тебя – все-таки что-нибудь новое; а кушанья не пожалеем это нам здесь ровно ничего не стоит...» Препротивная добродетель!

Так Александр лег спать и старался разгадать, что за человек его дядя. Он припомнил весь разговор; многого не понял, другому не совсем верил.

«Нехорошо говорю! – думал он, – любовь и дружба не вечны? не смеется ли надо мною дядюшка? Неужели здесь такой порядок? Что же Софье и нравилось во мне особенно, как не дар слова? А любовь ее неужели не вечна?.. И неужели здесь в самом деле не ужинают?»

Он еще долго ворочался в постели: голова, полная тре-

возможных мыслей, и пустой желудок не давали ему спать.

Прошло недели две.

Петр Иванович день ото дня становился довольнее своим племянником.

– У него есть такт, – говорил он одному своему компаньону по заводу, – чего бы я никак не ожидал от деревенского мальчика. Он не навязывается, не ходит ко мне без зову; и когда заметит, что он лишний, тотчас уйдет; и денег не просит: он малый покойный. Есть странности... лезет целоваться, говорит, как семинарист... ну, да от этого отвыкнет; и то хорошо, что он не сел мне на шею.

– Есть состояние? – спросил тот.

– Нет; каких-нибудь сто душонок.

– Что ж! если есть способности, так он пойдет здесь... ведь и вы не с большего начали, а вот, слава богу...

– Нет! куда! ничего не сделает. Эта глупая восторженность никуда не годится, ах да ох! не привыкнет он к здешнему порядку: где ему сделать карьеру! напрасно приезжал... ну, это уж его дело.

Александр долгом считал любить дядю, но никак не мог привыкнуть к его характеру и образу мыслей.

«Дядюшка у меня, кажется, добрый человек, – писал он в одно утро к Пospelову, – очень умен, только человек весьма прозаический, вечно в делах, в расчетах... Дух его будто прикован к земле и никогда не возносится до чистого, изолированного от

земных дрызгов созерцания явлений духовной природы человека. Небо у него неразрывно связано с землей, и мы с ним, кажется, никогда совершенно не сольемся душами. Едучи сюда, я думал, что он, как дядя, даст мне место в сердце, согреет меня в здешней холодной толпе горячими объятьями дружбы; а дружба, ты знаешь, *второе провиденье!* Но и он есть не что иное, как выражение этой толпы. Я думал делить с ним вместе время, не расставаться ни на минуту, но что встретил? – холодные советы, которые он называет дельными; но пусть они лучше будут недельны, но полны теплого, сердечного участия. Он горд не горд, но враг всяких искренних излияний; мы не обедаем, не ужинаем вместе, никуда не ездим. Приехав, он никогда не расскажет, где был, что делал, и никогда также не говорит, куда едет и зачем, кто у него знакомые, нравится ему что, нет ли, как он проводит время. Никогда не сердит особенно, ни ласков, ни печален, ни весел. Сердцу его чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному. Часто говоришь, и говоришь как вдохновенный пророк, почти как наш великий, незабвенный Иван Семеныч, когда он, помнишь, гремел с кафедры, а мы трепетали в восторге от его огненного взора и слова; а дядюшка? слушает, подняв брови, и смотрит престранно, или засмеется как-то по-своему, таким смехом, который леденит у меня кровь, – и прощай, вдохновение! Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона...⁵ Не верит он

⁵ Александр Адуев имеет здесь в виду стихотворение А.С. Пушкина

любви, и проч., говорит, что счастья нет, что его никто и не обещал, а что есть просто жизнь, разделяющаяся поровну на добро и зло, на удовольствие, удачу, здоровье, покой, потом на неудовольствие, неудачу, беспокойство, болезни и проч., что на все на это надо смотреть просто, не забирать себе в голову бесполезных – каково? бесполезных! – вопросов о том, зачем мы созданы да к чему стремимся, – что это не наша забота и что от этого мы не видим, что у нас под носом, и не делаем своего дела... только и слышишь о деле! В нем не отличишь, находится ли он под влиянием какого-нибудь наслаждения или прозаического дела: и за счетами, и в театре, все одинаков; сильных впечатлений не знает и, кажется, не любит изящного: оно чуждо душе его; я думаю, он не читал даже Пушкина...»

Петр Иваныч неожиданно явился в комнату племянника и застал его за письмом.

– Я пришел посмотреть, как ты тут устроился, – сказал дядя, – и поговорить о деле.

Александр вскочил и проворно что-то прикрыл рукой.

– Спрячь, спрячь свой секрет, – сказал Петр Иваныч, – я отвернусь. Ну, спрятал? А это что выпало? что это такое?

– Это, дядюшка, ничего... – начал было Александр, но смешался и замолчал.

– Кажется, волосы! Подлинно ничего! уж я видел одно, так покажи и то, что спрятал в руке.

Александр, точно уличенный школьник, невольно разжал руку и показал кольцо.

– Что это? откуда? – спросил Петр Иванович.

– Это, дядюшка, вещественные знаки... невещественных отношений...

– Что? что? дай-ка сюда эти знаки.

– Это залогов...

– Верно, из деревни привез?

– От Софьи, дядюшка, на память... при прощанье...

– Так и есть. И это ты вез за тысячу пятьсот верст?

Дядя покачал головой.

– Лучше бы ты привез еще мешок сушеной малины: ту, по крайней мере, в лавочку сбыли, а эти залогов...

Он рассматривал то волосы, то колечко; волосы понюхал, а колечко взвесил на руке. Потом взял бумажку со стола, завернул в нее оба знака, сжал все это в компактный комок и – бац в окно.

– Дядюшка! – неистово закричал Александр, схватив его за руку, но поздно: комок перелетел через угол соседней крыши, упал в канал, на край барки с кирпичами, отскочил и прыгнул в воду.

Александр молча, с выражением горького упрека, смотрел на дядю.

– Дядюшка! – повторил он.

– Что?

– Как назвать ваш поступок?

– Бросанием из окна в канал невещественных знаков и всякой дряни и пустяков, чего не нужно держать в комнате...

– Пустяков! это пустяки!

– А ты думал что? – половина твоего сердца... Я пришел к нему за делом, а он вон чем занимается – сидит да думает над дрянью!

– Разве это мешает делу, дядюшка?

– Очень. Время проходит, а ты до сих пор мне еще и не помянул о своих намерениях: хочешь ли ты служить, избрал ли другое занятие – ни слова! а все оттого, что у тебя Софья да знаки на уме. Вот ты, кажется, к ней письмо пишешь? Так?

– Да... я начал было...

– А к матери писал?

– Нет еще, я хотел завтра.

– Отчего же завтра? К матери завтра, а к Софье, которую через месяц надо забыть, сегодня...

– Софью? можно ли ее забыть?

– Должно. Не брось я твоих залогов, так, пожалуй, чего доброго, ты помнил бы ее лишней месяц. Я оказал тебе вдвойне услугу. Через несколько лет эти знаки напомнили бы тебе глупость, от которой бы ты краснел.

– Краснеть от такого чистого, святого воспоминания? это значит не признавать поэзии...

– Какая поэзия в том, что глупо? поэзия, например, в письме твоей тетки! желтый цветок, озеро, какая-то тайна... как я стал читать – мне так стало нехорошо, что и сказать

нельзя! чуть не покраснел, а уж я ли не отвык краснеть!

– Это ужасно, ужасно, дядюшка! стало быть, вы никогда не любили?

– Знаков терпеть не мог.

– Это какая-то деревянная жизнь! – сказал в сильном волнении Александр, – прозябание, а не жизнь! прозябать *без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви...*⁶

– И без волос! – прибавил дядя.

– Как вы, дядюшка, можете так холодно издеваться над тем, что есть лучшего на земле? ведь это преступление... Любовь... святые волнения!

– Знаю я эту святую любовь: в твои лета только увидят локон, башмак, подвязку, дотронутся до руки – так по всему телу и побежит святая, возвышенная любовь, а дай-ка волю, так и того... Твоя любовь, к сожалению, впереди; от этого никак не уйдешь, а дело уйдет от тебя, если не станешь им заниматься.

– Да разве любовь не дело?

– Нет: приятное развлечение, только не нужно слишком предаваться ему, а то выйдет вздор. От этого я и боюсь за тебя. – Дядя покачал головой. – Я почти нашел тебе место: ты ведь хочешь служить? – сказал он.

– Ах, дядюшка, как я рад!

Александр бросился и поцеловал дядю в щеку.

⁶ ...без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви – из стихотворения А.С. Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье», 1825).

– Нашел-таки случай! – сказал дядя, вытирая щеку, – как это я не остерегся! Ну, так слушай же. Скажи, что ты знаешь, к чему чувствуешь себя способным.

– Я знаю богословие, гражданское, уголовное, естественное и народное права, дипломатию, политическую экономию, философию, эстетику, археологию...

– Постой, постой! а умеешь ли ты порядочно писать по-русски? Теперь пока это нужнее всего.

– Какой вопрос, дядюшка: умею ли писать по-русски! – сказал Александр и побежал к комоду, из которого начал вынимать разные бумаги, а дядя между тем взял со стола какое-то письмо и стал читать.

Александр подошел с бумагами к столу и увидел, что дядя читает письмо. Бумаги у него выпали из рук.

– Что это вы читаете, дядюшка? – сказал он в испуге.

– А вот тут лежало письмо, к другу, должно быть. Извини, мне хотелось взглянуть, как ты пишешь.

– И вы прочитали его?

– Да, почти – вот только две строки осталось, – сейчас дочитаю; а что? ведь тут секретов нет, иначе бы оно не валялось так...

– Что же вы теперь думаете обо мне?

– Думаю, что ты порядочно пишешь, правильно, гладко...

– Стало быть, вы не прочли, что тут написано? – с живостью спросил Александр.

– Нет, кажется, все, – сказал Петр Иванович, поглядев на

обе страницы, – сначала описываешь Петербург, свои впечатления, а потом меня.

– Боже мой! – воскликнул Александр и закрыл руками лицо.

– Да что ты? что с тобой?

– И вы говорите это покойно? вы не сердитесь, не ненавидите меня?

– Нет! из чего мне бесноваться?

– Повторите, успокойте меня.

– Нет, нет, нет.

– Мне все не верится; докажите, дядюшка...

– Чем прикажешь?

– Обнимите меня.

– Извини, не могу.

– Почему же?

– Потому что в этом поступке разума, то есть смысла, нет, или, говоря словами твоего профессора, сознание не побуждает меня к этому; вот если б ты был женщина – так другое дело: там это делается без смысла, по другому побуждению.

– Чувство, дядюшка, просится наружу, требует порыва, излияния...

– У меня не просится и не требует, да если б и просилось, так я бы воздержался – и тебе тоже советую.

– Зачем же?

– А затем, чтоб после, когда рассмотришь поближе человека, которого обнял, не краснеть за свои объятия.

- Разве не случается, дядюшка, что оттолкнешь человека и после раскаешься?
- Случается; оттого я никогда никого и не отталкиваю.
- Вы и меня не оттолкнете за мой поступок, не назовете чудовищем?
- У тебя кто напишет вздор, тот и чудовище. Этак бы их развелось несметное множество.
- Но читать про себя такие горькие истины – и от кого же? от родного племянника!
- Ты воображаешь, что написал истину?..
- О дядюшка!.. конечно, я ошибся... я переправлю... простите...
- Хочешь, я тебе продиктую истину?
- Сделайте милость.
- Садись и пиши.
- Александр вынул лист бумаги и взял перо, а Петр Иванович, глядя на прочтенное им письмо, диктовал:
- «Любезный друг». Написал?
- Написал.
- «Петербурга и впечатлений своих описывать тебе не стану».
- «Не стану», – сказал Александр, написав.

«Петербург уже давно описан, а что не описано, то надо видеть самому; впечатления мои тебе ни на что не годятся. Нечего по-пустому тратить время и бумагу. Лучше опишу моего дядю, потому что это относится

лично до меня».

– «Дядю», – сказал Александр.

– Ну, вот ты пишешь, что я очень добр и умен – может быть, это и правда, может быть, и нет; возьмем лучше середину, пиши: «Дядя мой не глуп и не зол, мне желает добра...»

– Дядюшка! я умею ценить и чувствовать... – сказал Александр и потянулся поцеловать его.

– «Хотя и не вешается мне на шею», – продолжал диктовать Петр Иванович. Александр, не дотянувшись до него, поскорей сел на свое место. – А желает добра потому, что не имеет причины и побуждения желать зла и потому что его просила обо мне моя матушка, которая делала некогда для него добро. Он говорит, что меня не любит – и весьма основательно: в две недели нельзя полюбить, и я еще не люблю его, хотя и уверяю в противном».

– Как это можно? – сказал Александр.

– Пиши, пиши: «Но мы начинаем привыкать друг к другу. Он даже говорит, что можно и совсем обойтись без любви. Он не сидит со мной, обнявшись, с утра до вечера, потому что это вовсе не нужно, да ему и некогда». «Враг искренних излияний», – это можно оставить: это хорошо. Написал?

– Написал.

– Ну, что у тебя тут еще? «Прозаический дух, демон...»
Пиши.

Пока Александр писал, Петр Иванович взял со стола ка-

кую-то бумагу, свернул ее, достал огня и закурил сигару, а бумагу бросил и затоптал.

– «Дядя мой ни демон, ни ангел, а такой же человек, как и все, – диктовал он, – только не совсем похож на нас с тобой. Он думает и чувствует по-земному, полагает, что если мы живем на земле, так и не надо улетать с нее на небо, где нас теперь пока не спрашивают, а заниматься человеческими делами, к которым мы призваны. Оттого он вникает во все земные дела и, между прочим, в жизнь, как она есть, а не как бы нам ее хотелось. Верит в добро и вместе в зло, в прекрасное и прескверное. Любви и дружбе тоже верит, только не думает, что они упали с неба в грязь, а полагает, что они созданы вместе с людьми и для людей, что их так и надобно понимать и вообще рассматривать вещи пристально, с их настоящей стороны, а не заноситься бог знает куда. Между честными людьми он допускает возможность приязни, которая, от частых сношений и привычки, обращается в дружбу. Но он полагает также, что в разлуке привычка теряет силу и люди забывают друг друга и что это вовсе не преступление. Поэтому он уверяет, что я тебя забуду, а ты меня. Это мне, да и тебе, вероятно, кажется дико, но он советует привыкнуть к этой мысли, отчего мы оба не будем в дураках. О любви он того же мнения, с небольшими оттенками: не верит в неизменную и вечную любовь, как не верит в домовых – и нам не советует верить. Впрочем, об этом он советует мне думать как можно меньше, а я тебе советую. Это, говорит он, придет

само собою – без зову; говорит, что жизнь не в одном только этом состоит, что для этого, как для всего прочего, бывает свое время, а целый век мечтать об одной любви – глупо. Те, которые ищут ее и не могут ни минуты обойтись без нее, – живут сердцем, и еще чем-то хуже, на счет головы. Дядя любит заниматься делом, что советует и мне, а я тебе: мы принадлежим к обществу, говорит он, которое нуждается в нас; занимаясь, он не забывает и себя: дело доставляет деньги, а деньги комфорт, который он очень любит. Притом у него, может быть, есть намерения, вследствие которых, вероятно, не я буду его наследником. Дядя не всегда думает о службе да о заводе, он знает наизусть не одного Пушкина...»

– Вы, дядюшка? – сказал изумленный Александр.

– Да, когда-нибудь увидишь. Пиши: «Он читает на двух языках все, что выходит замечательного по всем отраслям человеческих знаний, любит искусства, имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы – это его вкус, часто бывает в театре, но не суетится, не мечется, не ахает, не охает, думая, что это ребячество, что надо воздерживать себя, не навязывать никому своих впечатлений, потому, что до них никому нет надобности. Он также не говорит диким языком, что советует и мне, а я тебе. Прощай, пиши ко мне пореже и не теряй по-пустому времени. Друг твой такой-то. Ну, месяц и число».

– Как можно послать такое письмо? – сказал Александр, – «пиши пореже» – написать это человеку, который нарочно

за сто шестьдесят верст приехал, чтобы сказать последнее прости! «Советую то, другое, третье»... он не глупее меня: он вышел вторым кандидатом.

– Нужды нет, ты все-таки пошли: может быть, он поумнее станет: это наведет его на разные новые мысли; хоть вы кончили курс, а школа ваша только что начинается.

– Я не могу решиться, дядюшка...

– Я никогда не вмешиваюсь в чужие дела, но ты сам просил что-нибудь для тебя сделать; я стараюсь навести тебя на настоящую дорогу и облегчить первый шаг, а ты упрямишься; ну, как хочешь; я говорю только свое мнение, а принуждать не стану, я тебе не нянька.

– Извините, дядюшка: я готов повиноваться, – сказал Александр и тотчас запечатал письмо.

Запечатав одно, он стал искать другое, к Софье. Он поглядел на стол – нет, под столом – тоже нет, в ящике – не бывало.

– Ты чего-то ищешь? – сказал дядя.

– Я ищу другого письма... к Софье.

И дядя стал искать.

– Где же оно? – говорил Петр Иванович, – я, право, не бросал его за окно...

– Дядюшка! что вы наделали? ведь вы им закурили сигару! – горестно сказал Александр и поднял обгорелые остатки письма.

– Не-уже-ли? – воскликнул дядя, – да как это я? и не заме-

тил; смотри, пожалуй, сжег такую драгоценность... А впрочем, знаешь что? оно даже, с одной стороны, хорошо...

– Ах, дядюшка, ей-богу, ни с какой стороны не хорошо... – заметил Александр в отчаянии.

– Право, хорошо: с нынешней почтой ты не успеешь написать к ней, а к будущей уж, верно, одумаешься, займешься службой: тебе будет не до того, и, таким образом, сделаешь одной глупостью меньше.

– Что ж она подумает обо мне?

– А что хочет. Да, я думаю, это полезно и ей. Ведь ты не женишься на ней? Она подумает, что ты ее забыл, забудет тебя сама и меньше будет краснеть перед будущим своим женихом, когда станет уверять его, что никого, кроме его, не любила.

– Вы, дядюшка, удивительный человек! для вас не существует постоянства, нет святости обещаний... Жизнь так хороша, так полна прелести, неги: она как гладкое, прекрасное озеро...

– На котором растут желтые цветы, что ли? – перебил дядя.

– Как озеро, – продолжал Александр, – она полна чего-то таинственного, заманчивого, скрывающего в себе так много...

– Тины, любезный.

– Зачем же вы, дядюшка, черпаете тину, зачем так разрушаете и уничтожаете все радости, надежды, блага... смотри-

те с черной стороны?

– Я смотрю с настоящей – и тебе тоже советую: в дураках не будешь. С твоими понятиями жизнь хороша там, в провинции, где ее не ведают, – там и не люди живут, а ангелы: вот Заезжалов – святой человек, тетушка твоя – возвышенная, чувствительная душа, Софья, я думаю, такая же дура, как и тетушка, да еще...

– Оканчивайте, дядюшка! – сказал взбешенный Александр.

– Да еще такие мечтатели, как ты: водят носом по ветру, не пахнет ли откуда-нибудь неизменной дружбой да любовью... В сотый раз скажу: напрасно приезжал!

– Станет она уверять жениха, что никого не любила! – говорил почти сам с собою Александр.

– А ты все свое!

– Нет, я уверен, что она прямо, с благородной откровенностью отдаст ему мои письма и...

– И знаки, – сказал Петр Иванович.

– Да, и залогов наших отношений... и скажет: «Вот, вот кто первый пробудил струны моего сердца; вот при чем имени заиграли они впервые...»

У дяди начали подниматься брови и расширяться глаза. Александр замолчал.

– Что ж ты перестал играть на своих струнах? ну, милый, и подлинно глупа твоя Софья, если сделает такую штуку; надеюсь, у нее есть мать или кто-нибудь, кто бы мог остановить

ее?

– Вы, дядюшка, решаетесь назвать глупостью этот святейший порыв души, это благородное излияние сердца; как прикажете думать о вас?

– Как тебе заблагорассудится. Жениха своего она заставит подозревать бог знает что; пожалуй, еще и свадьба разойдется, а отчего? оттого, что вы там рвали вместе желтые цветы... Нет, так дела не делаются. Ну, так ты по-русски писать можешь, – завтра поедем в департамент: я уж говорил о тебе прежнему своему сослуживцу, начальнику отделения; он сказал, что есть вакансия; терять времени нечего... Это что за кипу ты вытащил?

– А это мои университетские записки. Вот, позвольте прочесть несколько страниц из лекций Ивана Семеныча, об искусстве в Греции...

Он уж начал было проворно переворачивать страницы.

– Ох, сделай милость, уволь! – сказал, сморщившись, Петр Иваныч. – А это что?

– А это мои диссертации. Я желал бы показать их своему начальнику; особенно тут есть один проект, который я обработал...

– А! один из тех проектов, которые тысячу лет уже как исполнены или которых нельзя и не нужно исполнять.

– Что вы, дядюшка! да этот проект был представлен одному значительному лицу, любителю просвещения; за это однажды он пригласил меня с ректором обедать. Вот начало

другого проекта.

– Отобедай у меня дважды, да только не дописывай другого проекта.

– Почему же?

– Да так, ты теперь хорошего ничего не напишешь, а время уйдет.

– Как! слушавши лекции?..

– Они пригодятся тебе со временем, а теперь смотри, читай, учись да делай, что заставят.

– Как же узнает начальник о моих способностях?

– Мигом узнает: он мастер узнавать. Да ты какое же место хотел бы занять?

– Я не знаю, дядюшка, какое бы...

– Есть места министров, – говорил Петр Иванович, – товарищей их, директоров, вице-директоров, начальников отделений, столоначальников, их помощников, чиновников особых поручений, мало ли?

Александр задумался. Он растерялся и не знал, какое выбрать.

– Вот бы на первый раз место столоначальника хорошо, – сказал он.

– Да, хорошо! – повторил Петр Иванович.

– Я бы присмотрелся к делу, дядюшка, а там месяца через два можно бы и в начальники отделения...

Дядя наострил уши.

– Конечно, конечно! – сказал он, – потом через три месяца

в директоры, ну, а там через год и в министры: так, что ли?

Александр покраснел и молчал.

– Начальник отделения, вероятно, сказал вам, какая есть вакансия? – спросил он потом.

– Нет, – отвечал дядя, – он не говорил, да мы лучше положимся на него; сами-то, видишь, затрудняемся в выборе, а он уж знает, куда определить. Ты ему не говори о своем затруднении насчет выбора, да и о проектах тоже ни слова: пожалуй, еще обидится, что не доверяем ему, да пугнет порядком: он крутенок. Я бы тебе не советовал говорить и о *вещественных знаках* здешним красавицам: они не поймут этого, где им понять! Это для них слишком высоко: и я насилу вникнул, а они будут гримасничать.

Пока дядя говорил, Александр ворочал в руке какой-то сверток.

– Что это еще у тебя?

Александр с нетерпением ждал этого вопроса.

– Это... я давно хотел вам показать... стихи: вы однажды интересовались...

– Что-то не помню; кажется, я не интересовался...

– Вот видите, дядюшка, я думаю, что служба – занятие сухое, в котором не участвует душа, а душа жаждет выразиться, поделиться с ближними избытком чувств и мыслей, переполняющих ее...

– Ну так что же? – с нетерпением спросил дядя.

– Я чувствую призвание к творчеству...

– То есть ты хочешь заняться, кроме службы, еще чем-нибудь – так, что ли, в переводе? Что ж, очень похвально: чем же? литературой?

– Да, дядюшка, я хотел просить вас, нет ли у вас случая поместить кое-что...

– Уверен ли ты, что у тебя есть талант? Без этого ведь ты будешь чернорабочий в искусстве – что ж хорошего? Талант – другое дело: можно работать; много хорошего сделаешь, и притом это капитал – стоит твоих ста душ.

– Вы и это измеряете деньгами?

– А чем же прикажешь? чем больше тебя читают, тем больше платят денег.

– А слава, слава? вот истинная награда певца...

– Она устала нянчиться с певцами: слишком много претендентов. Это прежде, бывало, слава, как женщина, ухаживала за всяким, а теперь, замечаешь ли? ее как будто нет совсем, или она спряталась – да! Есть известность, а славы что-то не слышать, или она придумала другой способ проявляться: кто лучше пишет, тому больше денег, кто хуже – не прогневайся. Зато нынче порядочный писатель и живет порядочно, не мерзнет и не умирает с голода на чердаке, хоть за ним и не бегают по улицам и не указывают на него пальцами, как на шута; поняли, что поэт не небожитель, а человек: так же глядит, ходит, думает и делает глупости, как другие: чего ж тут смотреть?..

– Как другие – что вы, дядюшка! как это можно говорить!

Поэт заклеен особенною печатью: в нем таится присутствие высшей силы...

– Как иногда в других – и в математике, и в часовнике, и в нашем брате, заводчике. Ньютон, Гутенберг, Ватт так же были одарены высшей силой, как и Шекспир, Дант и прочие. Доведи-ка я каким-нибудь процессом нашу парголовскую глину до того, чтобы из нее выходил фарфор лучше саксонского или севрского, так ты думаешь, что тут не было бы присутствия высшей силы?

– Вы смешиваете искусство с ремеслом, дядюшка.

– Боже сохрани! Искусство само по себе, ремесло само по себе, а творчество может быть и в том и в другом, так же точно, как и не быть. Если нет его, так ремесленник так и называется ремесленник, а не творец, и поэт без творчества уж не поэт, а сочинитель... Да разве вам об этом не читали в университете? Чему же вы там учились?..

Дяде уж самому стало досадно, что он пустился в такие объяснения о том, что считал общеизвестной истиной.

«Это похоже на искренние излияния», – подумал он.

– Покажи-ка, что там у тебя? – спросил он, – стихотворения?

Дядя взял сверток и начал читать первую страницу.

Отколь порой тоска и горе
Внезапной тучей налетят
И, сердце с жизнью поссоря...

– Дай-ка, Александр, огня.

Он закурил сигару и продолжал:

В нем рой желаний заменят?
Зачем вдруг сумрачным ненастьем
Падет на душу тяжкий сон,
Каким неведомым несчастьем
Ее смутит внезапно он...

– Одно и то же в первых четырех стихах сказано, и вышла вода, – заметил Петр Иванович и читал:

Кто отгадает, отчего
Проступит хладными слезами
Вдруг побледневшее чело...

– Как же это так? Чело потом проступает, а слезами – не видывал.

И что тогда творится с нами?
Небес далеких тишина
В тот миг ужасна и страшна...

– Ужасна и страшна – одно и то же.

Гляжу на небо: там луна...

– Луна непременно: без нее никак нельзя! Если у тебя тут

есть мечта и дева— ты погиб: я отступаюсь от тебя.

Гляжу на небо: там луна
Безмолвно плавает, сияя,
И мнится, в ней погребена,
От века тайна роковая.

— Недурно! Дай-ка еще огня... сигара погасла. Где бишь, — да!

В эфире звезды, притаясь,
Дрожат в изменчивом сиянье
И, будто дружно согласясь,
Хранят коварное молчанье.
Так в мире все грозит бедой,
Все зло нам дико предвещает,
Беспечно будто бы качает
Нас в нем обманчивый покой;
И грусти той назва...нья нет...

Дядя сильно зевнул и продолжал:

Она пройдет, умчит и след,
Как перелетный ветер степей
С песков сдувает след зверей.

— Ну, уж «зверей»-то тут куда нехорошо! Зачем же тут черта? А! это было о грусти, а теперь о радости...

И он начал скороговоркой читать, почти про себя:

Зато случается порой
Иной в нас демон поселится,
Тогда восторг живой струей
Насильно в душу протеснится...
И затрепещет сладко грудь...⁷
и т. д.

– Ни худо, ни хорошо! – сказал он, окончив. – Впрочем, другие начинали и хуже; попробуй, пиши, занимайся, если есть охота; может быть, и обнаружится талант; тогда другое дело.

Александр опечалился. Он ожидал совсем не такого отзыва. Его немного утешало то, что он считал дядю человеком холодным, почти без души.

– Вот перевод из Шиллера, – сказал он.

– Довольно; я вижу; а ты знаешь и языки?

– Я знаю по-французски, по-немецки и немного по-английски.

– Поздравляю тебя, давно бы ты сказал: из тебя можно многое сделать. Давеча наставлял мне про политическую экономию, философию, археологию, бог знает про что еще, а о

⁷ Здесь приведены несколько измененные строки из юношеского романтического стихотворения И.А. Гончарова «Тоска и радость», которое было помещено в рукописном альманахе Майковых «Подснежник» за 1835 год (см. «Неизданные стихи» И.А. Гончарова, журнал «Звезда», № 5, 1938, стр. 243–246).

главном ни слова – скромность некстати. Я тебе тотчас найду и литературное занятие.

– Неужели, дядюшка? вот обяжете! – позвольте вас обнять.

– Погоди, вот как найду.

– Не покажете ли вы чего-нибудь из моих сочинений будущему моему начальнику, чтоб дать понятие?

– Нет, не нужно; если понадобится, ты и сам покажешь, а может быть, и не понадобится. Подари-ка ты мне свои проекты и сочинения!..

– Подарить? – извольте, дядюшка, – сказал Александр, которому польстило это требование дяди. – Не угодно ли, я вам сделаю оглавление всех статей в хронологическом порядке?

– Нет, не нужно... Спасибо за подарок. Евсей! отнеси эти бумаги к Василью.

– Зачем же к Василью? в ваш кабинет.

– Он просил у меня бумаги обклеить что-то...

– Как, дядюшка?.. – в ужасе спросил Александр и схватил кипу назад.

– Ведь ты подарил, а тебе что за дело, какое употребление я сделаю из твоего подарка?..

– Вы не щадите ничего... ничего!.. – с отчаянием стонал он, прижимая бумаги обеими руками к груди.

– Александр, послушайся меня, – сказал дядя, вырывая у него бумаги, – не будешь краснеть после и скажешь мне спасибо.

Александр выпустил бумаги из рук.

– На, отнеси, Евсей, – сказал Петр Иванович. – Ну, вот теперь у тебя в комнате чисто и хорошо: пустяков нет; от тебя будет зависеть наполнить ее сором или чем-нибудь дельным. Поедем на завод прогуляться, рассеяться, подышать свежим воздухом и посмотреть, как работают.

Утром Петр Иванович привез племянника в департамент, и пока сам он говорил с своим приятелем – начальником отделения, Александр знакомился с этим новым для него миром. Он еще мечтал все о проектах и ломал себе голову над тем, какой государственный вопрос предложат ему решить, между тем все стоял и смотрел.

«Точно завод моего дяди! – решил он наконец. – Как там один мастер возьмет кусок массы, бросит ее в машину, повернет раз, два, три, – смотришь, выйдет конус, овал или полукруг; потом передает другому, тот сушит на огне, третий золотит, четвертый расписывает, и выйдет чашка, или ваза, или блюдечко. И тут: придет посторонний проситель, подаст, полусогнувшись, с жалкой улыбкой, бумагу – мастер возьмет, едва дотронется до нее пером и передаст другому, тот бросит ее в массу тысяч других бумаг, – но она не затеряется: заклеенная номером и числом, она пройдет невредимо через двадцать рук, плодясь и производя себе подобных. Третий возьмет ее и полезет зачем-то в шкаф, заглянет или в книгу, или в другую бумагу, скажет несколько магических слов четвертому – и тот пошел скрипеть пером. Поскрипев,

передает родительницу с новым чадом пятому – тот скрипит в свою очередь пером, и рождается еще плод, пятый охорашивает его и сдает дальше, и так бумага идет, идет – никогда не пропадает: умрут ее производители, а она все существует целые веки. Когда, наконец, ее покроет вековая пыль, и тогда еще тревожат ее и советуются с нею. И каждый день, каждый час, и сегодня и завтра, и целый век, бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, без отдыха, как будто нет людей, – одни колеса да пружины...

Где же разум, оживляющий идвигающий эту фабрику бумаг? – думал Александр, – в книгах ли, в самих ли бумагах, или в головах этих людей?»

И какие лица увидел он тут! На улице как будто этакие и не встречаются и не выходят на божий свет: тут, кажется, они родились, выросли, срослись с своими местами, тут и умрут. Поглядел Адуев пристально на начальника отделения: точно Юпитер-громовержец; откроет рот – и бежит Меркурий с медной бляхой на груди; протянет руку с бумагой – и десять рук тянутся принять ее.

– Иван Иваныч! – сказал он.

Иван Иваныч выскочил из-за стола, подбежал к Юпитеру и стал перед ним как лист перед травой. И Александр оробел, сам не зная отчего.

– Дайте табачку!

Тот с подобострастием поднес обеими руками открытую табакерку.

– Да испытайте вот их! – сказал начальник, указывая на Адуева.

«Так вот кто будет меня испытывать! – думал Адуев, глядя на желтую фигуру Ивана Ивановича с обтертыми локтями. – Неужели и этот человек решает государственные вопросы!»

– Хороша ли у вас рука? – спросил Иван Иванович.

– Рука?

– Да-с; почерк. Вот потрудитесь переписать эту бумажку.

Александр удивился этому требованию, но исполнил его.

Иван Иванович сморщился, поглядев на его труд.

– Плохо пишут-с, – сказал он начальнику отделения. Тот поглядел.

– Да, нехорошо: набело не может писать. Ну, пусть пока переписывает отпуска, а там, как привыкнет немного, займите его исполнением бумаг; может быть, он годится: он учился в университете.

Вскоре и Адуев стал одною из пружин машины. Он писал, писал, писал без конца и удивлялся уже, что по утрам можно делать что-нибудь другое; а когда вспоминал о своих проектах, краска бросалась ему в лицо.

«Дядюшка! – думал он, – в одном уж ты прав, немилосердно прав; неужели и во всем так? ужели я ошибался и в заветных, вдохновенных думах, и в теплых верованиях в любовь, в дружбу... и в людей... и в самого себя?.. Что же жизнь?»

Он наклонялся над бумагой и сильнее скрипел пером, а у

самого под ресницами сверкали слезы.

– Тебе решительно улыбается фортуна, – говорил Петр Иваныч племяннику. – Я сначала целый год без жалованья служил, а ты вдруг поступил на старший оклад; ведь это семьсот пятьдесят рублей, а с наградой тысяча будет. Прекрасно на первый случай! Начальник отделения хвалит тебя; только говорит, что ты рассеян: то запятых не поставишь, то забудешь написать содержание бумаги. Пожалуйста, отвыкни: главное дело – обращай внимание на то, что у тебя перед глазами, а не заносись вон куда.

Дядя указал рукой кверху. С тех пор он сделался еще ласковее к племяннику.

– Какой прекрасный человек мой столоначальник, дядюшка! – сказал однажды Александр.

– А ты почему знаешь?

– Мы сблизились с ним. Такая возвышенная душа, такое честное, благородное направление мыслей! и с помощником также: это, кажется, человек с твердой волей, с железным характером...

– Уж ты успел сблизиться с ними?

– Да, как же!..

– Не звал ли тебя столоначальник к себе по четвергам?

– Ах, очень: каждый четверг. Он, кажется, чувствует ко мне особенное влечение...

– А помощник просил денег взаймы?

– Да, дядюшка, безделицу... я ему дал двадцать пять руб-

лей, что со мной было; он просил еще пятьдесят.

– Уж дал! А! – сказал с досадой дядя, – тут отчасти я виноват, что не предупредил тебя; да я думал, что ты не до такой степени прост, чтоб через две недели знакомства давать деньги взаймы. Нечего делать, грех пополам, двенадцать с полтиной считай за мной.

– Как, дядюшка, ведь он отдаст?

– Держи карман! Я его знаю: за ним пропадает моих сто рублей с тех пор, как я там служил. Он у всех берет. Теперь, если попросит, ты скажи ему, что я прошу его вспомнить мой должок – отстанет! а к столоначальнику не ходи.

– Отчего же, дядюшка?

– Он картежник. Посадит тебя с двумя такими же молодцами, как сам, а те стакнутся и оставят тебя без гроша.

– Картежник! – говорил в изумлении Александр, – возможно ли? Кажется, так склонен к искренним излияниям...

– А ты скажи ему, так, между прочим, в разговоре, что я у тебя взял все деньги на сохранение, так и увидишь, склонен ли он к искренним излияниям и позовет ли когда-нибудь к себе в четверг.

Александр задумался. Дядя покачал головой.

– А ты думал, что там около тебя ангелы сидят! *Искренние излияния, особенное влечение!* Как, кажется, не подумать о том прежде: не мерзавцы ли какие-нибудь около? Напрасно ты приезжал! – сказал он, – право, напрасно!

Однажды Александр только что проснулся. Евсей подал

ему большой пакет, с запиской от дяди.

«Наконец вот тебе и литературное занятие, – написано было в записке, – я вчера виделся с знакомым мне журналистом; он прислал тебе для опыта работу».

От радости у Александра дрожали руки, когда он распечатывал пакет. Там была немецкая рукопись.

«Что это – проза? – сказал он, – о чем же?»

И прочитал написанное наверху карандашом:

«*О наземе*, статья для отдела о сельском хозяйстве. Просят перевести поскорее».

Долго, задумчивый, сидел он над статьей, потом медленно, со вздохом, принялся за перо и начал переводить. Через два дня статья была готова и отослана.

– Прекрасно, прекрасно! – сказал ему через несколько дней Петр Иваныч. – Редактор предоволен, только находит, что стиль не довольно строг; ну, да с первого раза нельзя же всего требовать. Он хочет познакомиться с тобой. Ступай к нему завтра, часов в семь вечера: там он уж приготовил еще статью.

– Опять о том же, дядюшка?

– Нет, о чем-то другом; он мне сказывал, да я забыл... ах, да: *о картофельной патоке*. Ты, Александр, должно быть, в сорочке родился. Я, наконец, начинаю надеяться, что из тебя что-нибудь и выйдет: скоро, может быть, не стану говорить тебе, зачем ты приезжал. Не прошло месяца, а уж со всех сторон так на тебя и льется. Там тысяча рублей, да редактор

обещал сто рублей в месяц за четыре печатных листа: это ведь две тысячи двести рублей! Нет! я не так начал! – сказал он, сдвинув немного брови. – Напиши же к матери, что ты пристроен и каким образом. Я тоже стану отвечать ей, напишу, что я, за ее добро ко мне, сделал для тебя все, что мог.

– Маменька будет вам... очень благодарна, дядюшка, и я тоже... – сказал Александр со вздохом, но уж не бросился обнимать дядю.

III

Прошло более двух лет. Кто бы узнал нашего провинциала в этом молодом человеке с изящными манерами, в щегольском костюме? Он очень изменился, возмужал. Мягкость линий юношеского лица, прозрачность и нежность кожи, пушок на подбородке – все исчезло. Не стало и робкой застенчивости, и грациозной неловкости движений. Черты лица созрели и образовали физиономию, а физиономия обозначила характер. Лилии и розы исчезли, как будто под легким загаром. Пушок заменился небольшими бакенбардами. Легкая и шаткая поступь стала ровною и твердою походкою. В голосе прибавилось несколько басовых нот. Из подмалеванной картины вышел окончанный портрет. Юноша превратился в мужчину. В глазах блистали самоуверенность и отвага – не та отвага, что слышно за версту, что глядит на все нагло и хватками и взглядами говорит встречному и поперечному: «Смотри, берегись, не задень, не наступи на ногу, а не то – понимаешь? с нами расправа коротка!» Нет, выражение той отваги, о которой говорю, не отталкивает, а влечет к себе. Она узнается по стремлению к добру, к успеху, по желанию уничтожить заграждающие их препятствия... Прежняя восторженность на лице Александра умерялась легким оттенком задумчивости, первым признаком закравшейся в душу недоверчивости и, может быть, единственным следстви-

ем уроков дяди и беспощадного анализа, которому тот подвергал все, что проносилось в глазах и в сердце Александра. Александр усвоил наконец и такт, то есть умение обращаться с людьми. Он не бросался всем на шею, особенно с тех пор, как человек, склонный к *искренним излияниям*, несмотря на предостережение дяди, обыграл его два раза, а человек с твердым характером и железной волей перебрал у него немало денег взаймы. И другие люди и случаи много помогли этому. В одном месте он замечал, как исподтишка смеялись над его юношескою восторженностью и прозвали романтиком. В другом – едва обращали на него внимание, потому что от него никому не было *ni chaud, ni froid*.⁸ Он не давал обедов, не держал экипажа, не играл в большую игру. Прежде у Александра болело и ныло сердце от этих стычек розовых его мечтаний с действительностью. Ему не приходило в голову спросить себя: «Да что же я сделал отличного, чем отличился от толпы? Где мои заслуги и за что должны замечать меня?» А между тем самолюбие его страдало.

Потом он стал понемногу допускать мысль, что в жизни, видно, не всё одни розы, а есть и шипы, которые иногда покалывают, но слегка только, а не так, как рассказывает дядюшка. И вот он начал учиться владеть собою, не так часто обнаруживал порывы и волнения и реже говорил диким языком, по крайней мере при посторонних.

Но все еще, к немалому горю Петра Иваныча, он далеко

⁸ ни тепло, ни холодно (франц.)

был от холодного разложения на простые начала всего, что волнует и потрясает душу человека. О приведении же в ясность всех тайн и загадок сердца он не хотел и слушать.

Петр Иванович даст ему утром порядочный урок, Александр выслушает, смутится или глубоко задумается, а там поедет куда-нибудь на вечер и воротится сам не свой; дня три ходит как шальной – и дядина теория пойдет вся к черту. Обаяние и чад бальной сферы, гром музыки, обнаженные плечи, огонь взоров, улыбка розовых уст не дадут ему уснуть целую ночь. Ему мерещится то талия, которой он касался руками, то томный, продолжительный взор, который бросили ему, уезжая, то горячее дыхание, от которого он таял в вальсе, или разговор вполголоса у окна, под рев мазурки, когда взоры так искрились, язык говорил бог знает что. И сердце его билось; он с судорожным трепетом обнимал подушку и долго ворочался с боку на бок.

«Где же любовь? О, любви, любви жажду! – говорил он, – и скоро ли придет она? когда настанут эти дивные минуты, эти сладостные страдания, трепет блаженства, слезы...» – и проч.

На другой день он являлся к дяде.

– Какой, дядюшка, вчера был вечер у Зарайских! – говорил он, погружаясь в воспоминания о бале.

– Хорош?

– О, дивный!

– Порядочный ужин был?

– Я не ужинал.

– Как так? В твои лета не ужинать, когда можно! Да ты, я вижу, не шутя привыкаешь к здешнему порядку, даже уж слишком. Что ж, там все прилично было? туалет, освещение...

– Да-с.

– И народ порядочный?

– О да! очень порядочный. Какие глаза, плечи!

– Плечи? у кого?

– Ведь вы про них спрашиваете?

– Про кого?

– Да про девиц.

– Нет, я не спрашивал про них; но все равно – много было хорошеньких?

– О, очень... но жаль, что все они очень однообразны. Что одна скажет и сделает в таком-то случае, смотришь – то же повторит и другая, как будто затверженный урок. Была одна... не совсем похожа на других... а то не видно ни самостоятельности, ни характера. И движения, и взгляды – все одинаково: не услышишь самородной мысли, ни проблеска чувства... все покрыл и закрасил одинакий лоск. Ничто, кажется, не вызовет их наружу. И неужели это век будет заперто и не обнаружится ни перед кем? Ужели корсет вечно будет подавлять и вздох любви и вопль растерзанного сердца? неужели не даст простора чувству?..

– Перед мужем все обнаружится, а то, если рассуждать по-

твоему, вслух, так, пожалуй, многие и век в девках просидят. Есть дуры, что прежде времени обнаруживают то, что следовало бы прятать да подавлять, ну, зато после слезы да слезы: не расчет!

– И тут расчет, дядюшка?..

– Как и везде, мой милый; а кто не рассчитывает, того называют по-русски безрасчетным, дураком. Коротко и ясно.

– Удерживать в груди своей благородный порыв чувства!..

– О, я знаю, ты не станешь удерживать; ты готов на улице, в театре броситься на шею приятелю и зарыдать.

– Так что же, дядюшка? Сказали бы только, что это человек с сильными чувствами, что кто чувствует так, тот способен ко всему прекрасному и благородному и неспособен...

– Не способен рассчитывать, то есть размышлять. Велика фигура – человек с сильными чувствами, с огромными страстями! Мало ли какие есть темпераменты? Восторги, экзальтация: тут человек всего менее похож на человека, и хвататься нечем. Надо спросить, умеет ли он управлять чувствами; если умеет, то и человек...

– По-вашему, и чувством надо управлять, как паром, – заметил Александр, – то выпустить немного, то вдруг остановить, открыть клапан или закрыть...

– Да, этот клапан недаром природа дала человеку – это рассудок, а ты вот не всегда им пользуешься – жаль! а малый порядочный!

– Нет, дядюшка, грустно слушать вас! лучше познакомьте

меня с этой приезжей барыней...

– С которой? с Любецкой? Она была вчера?

– Была, долго говорила со мной о вас, спрашивала о своем деле.

– Ах да! кстати...

Дядя вынул из ящика бумагу.

– Отвези ей эту бумагу, скажи, что вчера только, и то насилу, выдали из палаты; объясни ей хорошенько дело: ведь ты слышал, как мы с чиновником говорили?

– Да, знаю, знаю; уж я объясню.

Александр обеими руками схватил бумагу и спрятал в карман. Петр Иваныч посмотрел на него.

– Да что ж тебе вздумалось познакомиться с нею? Она, кажется, неинтересна: с бородавкой у носа.

– С бородавкой? Не помню. Как это вы заметили, дядюшка?

– У носа да не заметить! Что ж тебе хочется к ней?

– Она такая добрая и почтенная...

– Как же это ты бородавки у носа не заметил, а уж узнал, что она добрая и почтенная? это странно. Да позволь... у ней ведь есть дочь – эта маленькая брюнетка. А! теперь не удивляюсь. Так вот отчего ты не заметил бородавки на носу!

Оба засмеялись.

– А я так удивляюсь, дядюшка, – сказал Александр, – что вы прежде заметили бородавку на носу, чем дочь.

– Подай-ка назад бумагу. Ты там, пожалуй, выпустишь все

чувство и совсем забудешь закрыть клапан, наделаешь вздоху и черт знает что объяснишь...

– Нет, дядюшка, не наделаю. И бумаги, как хотите, не подам, я сейчас же...

И он скрылся из комнаты.

А дело до сих пор шло да шло своим чередом. В службе заметили способности Александра и дали ему порядочное место. Иван Иванович и ему с почтением начал подносить свою табакерку, предчувствуя, что он, подобно множеству других, послужив, как он говаривал, без году неделю, обгонит его, сядет ему на шею и махнет в начальники отделения, а там, чего доброго, и в вице-директоры, как вон тот, или в директора, как этот, а начинали свою служебную школу и тот и этот под его руководством. «А я работай за них!» – прибавил он. В редакции журнала Александр тоже сделался важным лицом. Он занимался и выбором, и переводом, и поправкою чужих статей, писал и сам разные теоретические взгляды о сельском хозяйстве. Денег у него, по его мнению, было больше, нежели сколько нужно, а по мнению дяди, еще недовольно. Но не всегда он работал для денег. Он не отказывался от отрадной мысли о другом, высшем призвании. Юношеских его сил ставало на все. Он крал время у сна, у службы и писал и стихи, и повести, и исторические очерки, и биографии. Дядя уж не обклеивал перегородок его сочинениями, а читал их молча, потом посвистывал или говорил: «Да! это лучше прежнего». Несколько статей явилось под чужим

именем. Александр с радостным трепетом прислушивался к одобрителю суду друзей, которых у него было множество и на службе, и по кондитерским, и в частных домах. Исполнялась его лучшая, после любви, мечта. Будущность обещала ему много блеску, торжества; его, казалось, ожидал не совсем обыкновенный жребий, как вдруг...

Мелькнуло несколько месяцев. Александра стало почти нигде не видно, как будто он пропал. Дядю он посещал реже. Тот приписывал это его занятиям и не мешал ему. Но редактор журнала однажды, при встрече с Петром Ивановичем, жаловался, что Александр задерживает статьи. Дядя обещал при первом случае объясниться с племянником. Случай представился дня через три. Александр вбежал утром к дяде как сумасшедший. В его походке и движениях видна была радостная суетливость.

– Здравствуйте, дядюшка; ах, как я рад, что вас вижу! – сказал он и хотел обнять его, но тот успел уйти за стол.

– Здравствуй, Александр! Что это тебя давно не видно?

– Я... занят был, дядюшка: делал извлечения из немецких экономистов...

– А! что ж редактор лжет? Он третьего дня сказал мне, что ты ничего не делаешь – прямой журналист! Я ж его, при встрече, отделаю...

– Нет, вы ему ничего не говорите, – перебил Александр, – я ему еще не посылал своей работы, оттого он так и сказал...

– Да что с тобой? у тебя такое праздничное лицо! Ассессо-

ра, что ли, тебе дали или крест?

Александр мотал головой.

– Ну, деньги?

– Нет.

– Так что ж ты таким полководцем смотришь? Если нет, так не мешай мне, а вот лучше сядь да напиши в Москву, к купцу Дубасову, о скорейшей высылке остальных денег. Прочти его письмо: где оно? вот.

Оба замолчали и начали писать.

– Кончил! – сказал Александр через несколько минут.

– Проворно: молодец! Покажи-ка. Что это? Ты ко мне пишешь. «Милостивый государь Петр Иванович!» Его зовут Тимофей Никоныч. Как пятьсот двадцать рублей! пять тысяч двести! Что с тобой, Александр?

Петр Иванович положил перо и поглядел на племянника. Тот покраснел.

– Вы ничего не замечаете в моем лице? – спросил он.

– Что-то глуповато... Постой-ка... Ты влюблен? – сказал Петр Иванович.

Александр молчал.

– Так, что ли? угадал?

Александр, с торжественной улыбкой, с сияющим взглядом, кивнул утвердительно головой.

– Так и есть! Как это я сразу не догадался? Так вот отчего ты стал лениться, от этого и не видать тебя нигде. А Зарайские и Скачины пристают ко мне: где да где Александр Фе-

дорыч? он вон где – на седьмом небе!

Петр Иванович стал опять писать.

– В Наденьку Любецкую! – сказал Александр.

– Я не спрашивал, – отвечал дядя, – в кого бы ни было – все одна дурь. В какую Любецкую? это что с бородавкой?

– Э! дядюшка! – с досадой перебил Александр, – какая бородавка?

– У самого носа. Ты все еще не разглядел?

– Вы все смешиваете. Это, кажется, у матери есть бородавка около носа.

– Ну, все равно.

– Все равно! Наденька! этот ангел! неужели вы не заметили ее? Видеть однажды – и не заметить!

– Да что ж в ней особенного? Чего ж тут замечать? ведь бородавки, ты говоришь, у ней нет?..

– Далась вам эта бородавка! Не грешите, дядюшка: можно ли сказать, что она похожа на этих светских чопорных марионеток? Вы рассмотрите ее лицо: какая тихая, глубокая дума покоится на нем! Это – не только чувствующая, это мыслящая девушка... глубокая натура...

Дядя принялся скрипеть пером по бумаге, а Александр продолжал:

– В разговоре у ней вы не услышите пошлых общих мест. Каким светлым умом блестят ее суждения! что за огонь в чувствах! как глубоко понимает она жизнь! Вы своим взглядом отравляете ее, а Наденька мирит меня с нею.

Александр замолчал на минуту и погрузился совсем в мечту о Наденьке. Потом начал опять:

– А когда она поднимет глаза, вы сейчас увидите, какому пылкому и нежному сердцу служат они проводником! а голос, голос! что за мелодия, что за нега в нем! Но когда этот голос прозвучит признанием... нет выше блаженства на земле! Дядюшка! как прекрасна жизнь! как я счастлив!

У него выступили слезы; он бросился и с размаху обнял дядю.

– Александр! – вскричал, вскочив с места, Петр Иванович, – закрой скорей свой клапан – весь пар выпустил! Ты сумасшедший! смотри, что ты наделал! в одну секунду ровно две глупости: перемял прическу и закапал письмо. Я думал, ты совсем отстал от своих привычек. Давно ты не был таким. Посмотри, посмотри, ради бога, на себя в зеркало: ну, может ли быть глупее физиономия? а неглуп!

– Ха, ха, ха! я счастлив, дядюшка!

– Это заметно!

– Не правда ли? в моем взоре, я знаю, блещет гордость. Я гляжу на толпу, как могут глядеть только герой, поэт и влюбленный, счастливый взаимною любовью...

– И как сумасшедшие смотрят или еще хуже... Ну, что я теперь стану делать с письмом?

– Позвольте, я соскоблю – и незаметно будет, – сказал Александр. Он бросился к столу с тем же судорожным трепетом, начал скоблить, чистить, тереть и протер на письме

скважину. Стол от трения зашатался и толкнул этажерку. На этажерке стоял бюстик, из итальянского алебастра, Софокла или Эсхила. Почтенный трагик от сотрясения сначала раза три качнулся на зыбком пьедестале взад и вперед, потом свергнулся с этажерки и разбился вдребезги.

– Третья глупость, Александр! – сказал Петр Иванович, поднимая черепки, – а это пятьдесят рублей стоит.

– Я заплачú, дядюшка, о! я заплачú, но не проклиняйте моего порыва: он чист и благороден: я счастлив, счастлив! Боже! как хороша жизнь!

Дядя сморщился и покачал головой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.